

ЭДГАР АЛЛАН

ПО

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Заживо погребенные
Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Заживо погребенные
Фолио клуб
Герцог де л'Омлет
На стенах иерусалимских
Бон-Бон
Страницы из жизни знаменитости
Тень. Парабола
Как писать рассказ для «Блэквуда»
Трагическое положение. Коса времени
Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании
Разговор Эйрос и Хармионы
Не закладывай черту своей головы
Элеонора
Три воскресенья на одной неделе
Поместье Арнгейм
Очки
Повесть Крутых гор
Заживо погребенные
Месмерическое откровение
Продолговатый ящик

Лось
Тысяча вторая сказка Шехерезады
Сила слов
Система доктора Дегот и профессора Перье
Mellonta Tauta
Фон Кемпелен и его открытие
Домик Лэндора
[Маяк]

Аннотация

Перу Эдгара Аллана По принадлежит более семидесяти новелл, его считают родоначальником логического (детективного) рассказа, психологического рассказа и научно-фантастической новеллы. Рассказы, представленные в настоящем сборнике, являются ярчайшими образцами «малоформатной» прозы По и позволят читателю составить наиболее полное представление о многогранности таланта писателя.

Тема новеллы «Заживо погребенные» – одна из традиционных в творчестве автора и присутствует во многих его рассказах, в том числе «Береника», «Бочонок амонтильядо», «Падение дома Ашеров».

Смерть страшит человека и привлекает своими тайнами. Бывало немало случаев, когда людей хоронили заживо, сочтя их умершими. Герой новеллы болен каталепсией, когда состояние летаргии может длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому его преследует страх быть похороненным заживо…

Эдгар Аллан По
Заживо погребенные

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Фолио клуб[1]

Тут хитрость в духе Макьявелли -
Ее не все понять сумели[2].

Батлер

Должен с сожалением сказать, что Фолио Клуб — не более как скопище скудоумия. Считаю также, что члены его столь же уродливы, сколь глупы. Полагаю, что они твердо решили уничтожить литературу, ниспровергнуть Прессу и свергнуть Правительство Имен Собственных и Местоимений. Таково мое личное мнение, которое я сейчас осмеливаюсь огласить.

А между тем, когда я, всего какую-нибудь неделю назад, вступал в это дьявольское объединение, никто не испытывал к нему более глубокого восхищения и уважения, чем я. Отчего в моих чувствах произошла перемена, станет вполне ясно из дальнейшего. Одновременно я намерен реабилитировать собственную личность и досто-

---

[1] Примечания: 1

© Перевод. З. Александрова.

[2] Примечания: 2

Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворные переводы В. В. Рогова.

инство Литературы.

Обратившись к протоколам, я установил, что Фолио Клуб был основан как таковой — дня — месяца — года. Я люблю начинать с начала и питаю особое пристрастие к датам. Согласно одному из пунктов принятого в ту пору Устава, членами Клуба могли быть только лица образованные и остроумные; а признанной целью их союза было «просвещение общества и собственное развлечение». Ради этой последней цели на дому у одного из членов клуба ежемесячно проводится собрание, куда каждый обязан принести сочиненный им самим Короткий Рассказ в Прозе. Каждое такое сочинение читается автором перед собравшимися за стаканом вина, после обеда. Все, разумеется, соперничают друг с другом, тем более что автор «Лучшего Рассказа» становится pro tem[3]. Председателем Клуба; должность эта весьма почетна, почти не сопряжена с расходами и сохраняется за занимающим ее лицом, пока его не вытеснит еще лучший рассказчик. И наоборот, автор рассказа, признанного худшим, обязан оплатить обед и вино на следующем очередном собрании общества. Это оказалось отличным

---

[3] Примечания: 3
Временно (лат.).

способом привлекать время от времени новых членов вместо какого-нибудь несчастливца, который, проиграв такое угощение два-три раза подряд, натурально отказывался и от «высокой чести», и от членства. Число членов Клуба не должно превышать одиннадцати. На это имеется ряд основательных причин, которые нет надобности излагать, но о которых догадается всякий мыслящий человек. Одна из них состоит в том, что первого апреля, в год триста пятидесятый перед Потопом, на солнце, как говорят, было ровно одиннадцать пятен. Читатель заметит, что в этом кратком очерке истории Общества я не даю воли своему негодованию и пишу с редким беспристрастием и терпимостью. Для exposé[4], которое я намерен сделать, достаточно привести протокол собрания Клуба от прошлого вторника, когда я дебютировал в качестве члена этого общества, будучи избран вместо достопочтенного Огастеса Зачерктона, вышедшего из его состава.

В пять часов пополудни я, как было условлено, явился к мистеру Руж-э-Нуар, почитателю леди Морган, признанному в предыдущем месяце автором худшего рассказа. Я застал собравшихся

---

[4] Примечания: 4
Сообщения (франц.).

уже в столовой и должен признать, что яркий огонь камина, комфортабельная обстановка комнаты и отлично сервированный стол, равно как и достаточная уверенность в своих способностях, настроили меня весьма приятно. Я был встречен с большим радушием и пообедал, крайне довольный вступлением в общество столь знающих людей.

Членами его были большей частью очень примечательные личности. Это был прежде всего мистер Щелк, председатель, чрезвычайно худой человек с крючковатым носом, бывший сотрудник «Обозрения для глупцов».

Был там также мистер Конволвулус Гондола, молодой человек, объездивший много стран.

Был Де Рерум Натура, эсквайр, носивший какие-то необыкновенные зеленые очки. Был очень маленький человечек в черном сюртуке, с черными глазами.

Был мистер Соломон Гольфштрем, удивительно похожий на рыбу. Был мистер Оррибиле Дикту, с белыми ресницами и дипломом Геттингенского университета.

Был мистер Блэквуд Блэквуд, написавший ряд статей для иностранных журналов. Был хозяин дома, мистер Руж-э-Нуар, поклонник леди

Морган. Был некий толстый джентльмен, восхищавшийся Вальтером Скоттом.

Был еще Хронологос Хронолог, почитатель Хорейса Смита, обладатель большого носа, побывавшего в Малой Азии.

Когда убрали со стола, мистер Щелк сказал, обращаясь ко мне: «Полагаю, сэр, что едва ли есть надобность знакомить вас с правилами Клуба. Вам, я думаю, известно, что мы стремимся просвещать общество и развлекать самих себя. Сегодня, однако, мы ставим себе лишь эту вторую цель и ждем, чтобы и вы внесли свой вклад. А сейчас я приступлю к делу». Тут мистер Щелк, отставив от себя бутылку, достал рукопись и прочел следующее.

Герцог де л'Омлет[5]

И вмиг попал он в климат попрохладней.

Каупер

Китс умер от рецензии. А кто это умер от «Андромахи»? Ничтожные душонки! Де л'Омлет погиб от ортолана. L'histoire en est brève[6]. Дух Апиция, помоги мне!

Из далекого родного Перу маленький крылатый путешественник, влюбленный и томный, был доставлен в золотой клетке на Шоссе д'Антен. Шесть пэров империи передавали счастливую птицу от ее царственной владелицы, Ла Беллиссимы, герцогу де л'Омлету.

В тот вечер герцогу предстояло ужинать одному. Уединившись в своем кабинете, он полулежал на оттоманке — на той самой, ради которой он нарушил верность своему королю, отбив ее у него на аукционе, — на пресловутой оттоманке Cadêt.

Он погружает лицо в подушки. Часы бьют! Не в

---

[5] Примечания: 5

© Перевод. З. Александрова.

[6] Примечания: 6

Повесть об этом короткая (франц.).

силах далее сдерживаться, его светлость проглатывает оливку. Под звуки пленительной музыки дверь тихо растворяется, и нежнейшая из птиц предстает перед влюбленнейшим из людей. Но отчего на лице герцога отражается такой ужас?

— Horreur! — chien! — Baptiste! — l'oiseau! ah, bon Dieu! Cet oiseau modeste que tu es déshabillé de ses plumes, et que tu as servi sans papier![7] Надо ли говорить подробнее? Герцог умирает в пароксизме отвращения.

* * *

— Ха-ха-ха! — произнес его светлость на третий день после своей кончины.

— Хи-хи-хи! — негромко откликнулся Дьявол, выпрямляясь с *надменным* видом.

— Вы, разумеется, шутите, — сказал де л'Омлет. — Я грешил — c'est vrai[8], — но рассудите, дорогой сэр, — не станете же вы приводить в исполнение столь варварские угрозы!

— Чегой-то? — переспросил его величество. — А

---

[7] Примечания: 7

Ужас! — собака! — Батист! — птица, о боже! Эта скромная птица, с которой ты снял перья и которую подаешь без бумажной обертки! (франц.).

[8] Примечания: 8

Это правда (франц.).

ну-ка, раздевайся, да поживее!

— Раздеться? Ну, признаюсь! Нет, сэр, я *не* сделаю ничего подобного. Кто вы такой, чтобы я, герцог де л'Омлет, князь де Паштет, совершеннолетний, автор «Мазуркиады» и член Академии, снял по вашему приказу лучшие панталоны работы Бурдона, самый элегантный robe-de-chambre[9], когда-либо сшитый Ромбером, — не говоря уж о том, что придется еще снимать и папильотки и перчатки...

— Кто я такой? Изволь. Я — Вельзевул, повелитель мух. Я только что вынул тебя из гроба розового дерева, отделанного слоновой костью. Ты был как-то странно надушен, а поименован согласно накладной. Тебя прислал Белиал, мой смотритель кладбищ. Вместо панталон, сшитых Бурдоном, на тебе пара отличных полотняных кальсон, а твой robe-de-chambre просто саван изрядных размеров.

— Сэр! — ответил герцог, — меня нельзя оскорблять безнаказанно. Сэр! Я не премину рассчитаться с вами за эту обиду. О своих намерениях я вас извещу, а пока, au revoir[10]! — и герцог собирался

---

[9] Примечания: 9
Халат (франц.).

[10] Примечания: 10
До свидания (франц.).

уже откланяться его сатанинскому величеству, но один из придворных вернул его назад. Тут его светлость протер глаза, зевнул, пожал плечами и задумался. Убедившись, что все это происходит именно с ним, он бросил взгляд вокруг.

Апартаменты были великолепны. Даже де л'Омлет признал их bien comme il faut[11]. Они поражали не столько длиною и шириною, сколько высотою. Потолка не было — нет, — вместо него клубилась плотная масса огненных облаков. При взгляде вверх у его светлости закружилась голова. Оттуда спускалась цепь из неведомого кроваво-красного металла; верхний конец ее, подобно городу Бостону, терялся parmi les nues[12]. К нижнему был подвешен большой светильник. Герцог узнал в нем рубин; но он изливал такой яркий и страшный свет, какому никогда не поклонялась Персия, какого не воображал себе гебр, и ни один мусульманин, когда, опьяненный опиумом, склонялся на ложе из маков, оборотясь спиною к цветам, а лицом к Аполлону. Герцог пробормотал проклятие, выражавшее явное одобрение.

---

[11] Примечания: 11
3 Очень приличными (франц.).

[12] Примечания: 12
В облаках (франц.).

Углы зала закруглялись, образуя ниши. В трех из них помещались гигантские изваяния. Их красота была греческой, уродливость — египетской, их tout ensemle[13] — чисто французским. Статуя, занимавшая четвертую нишу, была закрыта покрывалом; ее размеры были значительно *меньше*. Но видна была тонкая лодыжка и ступня, обутая в сандалию. Де л'Омлет прижал руку к сердцу, закрыл глаза, открыл их и увидел, что его сатанинское величество покраснел.

А картины! Киприда! Астарта! Ашторет! Их тысяча, и все это — одно. И Рафаэль видел их! Да, Рафаэль побывал здесь; разве не он написал... и разве не тем погубил свою душу? Картины! Картины! О роскошь, о любовь! Кто, увидев эту запретную красоту, заметил бы изящные золотые рамы, сверкавшие точно звезды на стенах из гиацинта и порфира?

Но у герцога замирает сердце. Не подумайте, что он ошеломлен роскошью или одурманен сладострастным дыханием бесчисленных курильниц. C'est vrai que de toutes ces choses il a pensé beaucoup — mais![14] Герцог де л'Омлет поражен ужасом;

---

[13] Примечания: 13
Общий вид (франц.).

[14] Примечания: 14
Правда, обо всех этих вещах он много думал — но! (франц.)

ибо сквозь единственное незанавешенное окно он видит пламя самого страшного из всех огней!

Le pauvre Duc![15] Ему кажется, что звуки, которые непрерывно проникают в зал через эти волшебные окна, превращающие их в сладостную музыку, — не что иное, как стоны и завывания казнимых грешников. А там? — Вон там, на той оттоманке? — *Кто* он? Этот petit-maître[16] — нет, божество — недвижный, словно мраморная статуя, — и такой бледный — et qui sourit, si amèrement[17]?

Mais il fait agir[18] — то есть француз никогда не падает сразу в обморок. К тому же его светлость ненавидит сцены; и де л'Омлет овладевает собой. На столе лежит несколько рапир, в том числе обнаженных. Герцог учился фехтованию у Б. — Il avait tué ses six hommes[19]. Значит, il

---

[15] Примечания: 15
Бедный герцог! (франц.)

[16] Примечания: 16
Щеголь (франц.).

[17] Примечания: 17
Который улыбается так горько (франц.).

[18] Примечания: 18
Но надо действовать (франц.).

[19] Примечания: 19
Он убил шестерых противников (франц.).

peut s'échapper[20]. Он выбирает два обнаженных клинка равной длины и с неподражаемой грацией предлагает их его величеству на выбор. Horreur![21] Его величество не умеет фехтовать. Mais il joue![22] — Какая счастливая мысль! — Впрочем, его светлость всегда отличался превосходной памятью. Он заглядывал в «Diable»[23], сочинение аббата Гуалтье. А там сказано, «que le Diable n'ose pas refuser un jeu d'écarté»[24].

Но есть ли шансы выиграть? Да, положение отчаянное, но решимость герцога — тоже. К тому же разве он не принадлежит к числу посвященных? Разве он не листал отца Лебрена? Не состоял членом Клуба Vingt-Un[25]? «Si je perds, — говорит он, — je serai deux fois perdu[26], voilà tout![27] (Тут его светлость пожимает плечами.) погибну

---

[20] Примечания: 20
Он может спастись (франц.).

[21] Примечания: 21
Ужас! (франц.).

[22] Примечания: 22
Но он играет! (франц.)

[23] Примечания: 23
«Дьявола» (франц.).

[24] Примечания: 24
Дьявол не смеет отказаться от партии экарте (франц.).

[25] Примечания: 25
Двадцать одно (франц.).

[26] Примечания: 26
Если проиграю, я погибну дважды (франц.).

[27] Примечания: 27
Вот и все! (франц.)

дважды — Si je gagne, je reviendrai à mes ortolans — que les cartes soient préparées![28]»

Его светлость — весь настороженность и внимание. Его величество — воплощенная уверенность. При виде их зрителю вспомнились бы Франциск и Карл. Его светлость думал об игре. Его величество не думал; он тасовал карты. Герцог снял.

Карты сданы. Открывают козыря: это — да, это король! Нет, дама! Его величество проклял ее мужеподобное одеяние. Де л'Омлет приложил руку к сердцу.

Они играют. Герцог подсчитывает. Талья окончилась. Его величество медленно считает, улыбается и отпивает глоток вина. Герцог сбрасывает одну карту.

— C'est à vous à faire[29], — говорит его величество, снимая. Его светлость кланяется, сдает и подымается из-за стола, en présentant le Roi[30].

Его величество огорчен.

Если бы Александр не был Александром, он

---

[28] Примечания: 28

Если выиграю, вернусь к своим ортоланам — пусть приготовят карты! (франц.).

[29] Примечания: 29

Вам сдавать (франц.).

[30] Примечания: 30

Предъявляя короля (франц.).

хотел бы быть Диогеном; герцог же на прощание заверил своего партнера, «que s'il n'eût pas été De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'être le Diable»[31].

[31] Примечания: 31

Что если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом (франц.).

На стенах иерусалимских[32]

Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat…

Lucan*[33] *Перевод: дикий кабан.

— Поспешим на стены, — сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза, в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое. — Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом, откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи, и неверные, во исполнение обещания Помпея, приготовили нам жертвенных агнцев.

Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.

— Воистину, — отозвался фарисей, — поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма

---

[32] Примечания: 32
© Перевод. З. Александрова.

[33] Примечания: 33
Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный… Лукан (лат.).

необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала.

— Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие, — сказал Бузи бен Леви, — но только по отношению к народу Адонаи. Слыхано ли, чтобы аммонитяне поступались собственной выгодой? Невелика щедрость — поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей с головы!

— Ты забываешь, бен Леви, — промолвил Абель-Фиттим, — что римлянин Помпеи, святотатственно осаждающий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.

— Клянусь пятью углами моей бороды! — воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, *ударяя* ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов). — Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка

осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..

— Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина, — прервал его Абель-Фиттим, — ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть, жаждой наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.

Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом грунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в вышину шестьдесят, а самая высокая — сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть

крутой горы Мориа. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бэзек, — самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, — Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов — даже храм Бела.

— Воистину, — вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, — необрезанных — что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.

— А все же, — заметил бен Леви, — покажи мне хоть одного неверного — от алефа до тау — от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод»!

— Спускайте корзину с серебряными сиклями, — крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, — спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить — язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею, который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба — истинного бога! — уже час, как катит по небу, а ведь вы

должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол! Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!

— Эль Элоим! — воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. — Эль Элоим! *Что еще* за бог Феб? *Кого* призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале? Об Ашиме? О Нибхазе? Тартаке? Адрамелехе? Анамалехе? О Суккот-Бенифе? О Дагоне? Белиале? Ваал-Перите? Ваал-Пеоре? Или Ваал-Зебубе?

— Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы, и тогда горе нам! — ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.

С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собрались вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.

Прошло полчаса.

— Мы опоздаем, — вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, — мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.

— Никогда больше не вкушать нам от тука земли! — подхватил Абель-Фиттим. — Не умащать бороды благовонным ладаном, не повивать чресел тонким храмовым полотном.

— Рака`! — выругался бен Леви. — Рака! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии?

— Вот наконец-то сигнал! — воскликнул фарисей. — Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! Тяни и ты, Бузи бен Леви! Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо Господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное!

И гизбаримы изо всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.

* * *

— Бошох хи! — вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. — Бошох хи!

— Бошох хи! Вот тебе на! Это, должно быть, баран из энгедийских рощ, косматый, как долина Иосафата!

— Это первенец стада, — сказал Абель-Фиттим. — Я узнаю его по блеянию и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника, а мясо подобно меду Хеврона.

— Это тучный телец с пастбищ Васана, — промолвил фарисей. — Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. Заиграем на арфах и на кимвалах, на цитрах и саквебутах.

Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной *свиньи*.

— Эль Эману! — воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, от чего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. — Эль Эману! С нами бог! Это *трефное* мясо!

Бон-Бон[34]

Quand un bon vin meuble mon estomac,
Je suis plus savant que Balzac -
Plus sage que Pibrac;
Mon bras seul faisant l'attaque
De la nation Cossaque,
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J'irois au fier Eac,
Sans que mon coeur fit tic ni tac,
Présenter du tabac[35].

Французский водевиль

---

[34] Примечания: 34

© Перевод. М. Энгельгардт.

[35] Примечания: 35

Когда я в глотку лью коньяк,
Я сам ученей, чем Бальзак,
И я мудрее, чем Пибрак,
Мне нипочем любой казак.
Пойду на рать таких вояк
И запихну их в свой рюкзак.
Могу залезть к Харону в бак
И спать, пока везет чудак,
А позови меня Эак,
Опять не струшу я никак.
И сердце тут ни тик, ни так,

Я только гаркну: «Сыпь табак!» (франц.)
(Пер. В. В. Левика)

Что Пьер Бон-Бон был ресторатор с необыкновенными достоинствами, этого, я полагаю, не решится отрицать никто из людей, посещавших маленькое кафе в Cul-de-Sac Лефебвр в Руане. Что Пьер Бон-Бон был не менее выдающийся философ своего времени, это еще неоспоримее. Без сомнения, его паштеты были безупречны; но какое перо способно воздать должное его эссе о природе, его мыслям о душе, его наблюдениям о разуме? Если его омлеты, его фрикандо были неоценимы, то какой литератор его эпохи не заплатил бы за «идеи Бон-Бона» вдвое больше, чем за все «Идеи» всех остальных «ученых», вместе взятых? Бон-Бон рылся в таких библиотеках, где никто другой не рылся, прочел столько, что никто другой не мог бы даже представить себе такой груды книг, понял больше, чем всякий другой считал возможным понять; и хотя в эпоху его славы нашлись в Руане авторы, утверждавшие, будто «его высказывания не обладают чистотой слога Академии, ни глубиной Лицея», хотя его доктрины были поняты далеко не всеми, но отсюда вовсе не следует, что их было трудно понять. Я думаю, что многие считали их темными именно вследствие их очевидности. Бон-Бону сам Кант обязан своей метафизикой. Он не был ни плато-

ником, ни, строго говоря, аристотелианцем; он не тратил, подобно новейшему Лейбницу, драгоценных часов, которые могли бы быть употреблены на изобретение какого-нибудь фрикасе, на анализ какого-нибудь ощущения, — он не тратил их на дерзкие попытки примирить масло и воду этических споров. Вовсе нет. Бон-Бон был ониец — Бон-Бон был также италиец. Он рассуждал à priori[36], он рассуждал также à posteriori[37]. Его идеи были врожденные или наоборот приобретенные. Он верил в Георгия Трапезундского, верил в Виссариона. Бон-Бон был рьяный бонбонист.

Я говорю о философе, как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых душа помещается в

---

[36] Примечания: 36
На основании ранее известного (лат.).

[37] Примечания: 37
Исходя из опыта (лат.).

животе. Во всяком случае греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду[38]. Говоря это, я отнюдь не думаю намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости (какой же великий человек не имел их тысячи?), если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать.

Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась — какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах, — и торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности.

Такая странная особенность в любую эпоху

---

[38] Примечания: 38
Φρενες (греч.).

возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи; рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге; приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей.

У нашего философа были и другие слабости, но вряд ли стоит разбирать их серьезно. Так, например, люди глубокого ума в большинстве случаев обнаруживают пристрастие к бутылке. Является ли это пристрастие причиной или доказательством глубины ума — вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько мне известно, считал этот предмет недоступным детальному исследованию, — я с ним согласен. Но и отдавая дань этой истинно классической склонности, ресторатор не упускал из вида тонкого вкуса, отличавшего его эссе и его омлеты. Свой час был для бургундского, свое

время для Côtes du Rhone[39]. В его глазах сотерн относился к медоку, как Катулл к Гомеру. Он придумывал силлогизм, прихлебывая сен-пере, разбирал доказательство за кло де вужо, топил теорию в потоке шамбертена. Хорошо было бы, если бы то же самое чувство меры сопутствовало его склонности к торговым сделкам, о которой я уже упоминал, но этого не было. Эта особенность философа Бон-Бона получила с течением времени характер преувеличенный и мистический и, по-видимому, не чуждый diablerie[40] его излюбленных германских авторов. Переступая порог маленького кафе в Cul-de-sac Лефебвр в Руане, в эпоху нашего рассказа, — вы входили в sanctum гениального человека. Бон-Бон был гениальный человек. Любой повар в Руане подтвердил бы вам, что Бон-Бон был гениальный человек. Даже его Кошка знала это и не позволяла себе играть с собственным хвостом в присутствии гениального человека. Его огромный водолаз тоже понимал значение этого факта и при виде Бон-Бона обнаруживал сознание собственного ничтожества почтительным поведением и смиренным

[39] Примечания: 39
Котдюрон (франц.).

[40] Примечания: 40
Чертовщина (франц.).

опусканием хвоста. Может быть, впрочем, это почтение возбуждала сама наружность метафизика. Внушительная наружность действует и на животных; и я охотно соглашаюсь, что многие черты внешности ресторатора должны были действовать на воображение четвероногих. Есть особенное величие в наружности маленького гиганта, — если позволено будет употребить такое двусмысленное выражение, — величие, которого не могут сообщить одни крупные размеры тела. И хотя Бон-Бон был всего трех футов ростом, хотя головка у него была очень маленькая, зато при взгляде на его круглый живот вы испытывали впечатление великолепия, почти граничившего с возвышенным. При виде такого живота люди и собаки должны были испытывать крайнее уважение к совершенным познаниям Бон-Бона, а громадные размеры живота указывали на подходящее помещение для его бессмертной души.

Я мог бы, если бы мне вздумалось, распространиться о его костюме и других деталях, относящихся к внешности метафизика. Я мог бы сообщить вам, что волосы нашего героя были острижены под гребенку и увенчаны конусообразным белым фланелевым колпаком с кисточками; что его камзол цвета зеленого го-

рошка отличался по фасону от камзолов, носимых обыкновенными рестораторами его времени, что рукава его были несколько просторнее, чем требовала тогдашняя мода, что обшлага не были сделаны по тогдашнему варварскому обычаю из материи одного цвета и качества с остальным платьем, а из цветного генуэзского бархата; что пунцовые туфли с курьезными узорами можно бы было принять за японские, если бы не изящно заостренные носки и яркие краски вышивок и узоров; что его панталоны были из желтой материи вроде атласа, называемой aimable[41], что его халат небесно голубого цвета с красными вышивками вроде капота колыхался на его плечах, как туман утром, и что его tout ensemble[42] вызвал со стороны Беневенуты, флорентийской импровизаторши, следующее замечание: «Трудно сказать, райская ли птица Пьер Бон-Бон или воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, распространиться обо всех этих деталях, если бы мне вздумалось, но я не хочу; предоставим подробности чисто личного свойства авторам исторических романов; они не соответствуют

[41] Примечания: 41
Приятный (франц.).

[42] Примечания: 42
Весь комплект (франц.).

моральному достоинству моего сообщения.

Я сказал: «Вступая в кафе в Cul-de-Sac Лефебвр, вы входили в святая святых гениального человека», но только гениальный человек мог бы оценить достоинства этого святилища. Вывеска в виде огромного фолианта висела над входом. На одной стороне этого тома была нарисована бутылка, на противоположной — pâté[43]. На корешке большими буквами было написано: «Oeuvres de Bon-Bon»[44]. Так изящно оттенялась двойная профессия хозяина.

Переступив порог, вы могли окинуть взором всю внутренность здания. Кафе состояло из одной длинной и низкой комнаты старинной архитектуры. В углу стояла кровать метафизика. Занавеси и кушетка на греческий манер придавали этому уголку классический и комфортабельный вид. В противоположном по диагонали углу помещались, в полном семейном согласии, принадлежности кухни и библиотека. Груда новейших трактатов по этике лежала подле кастрюльки для смешивания соусов. Тома германских моралистов покоились рядом с ра-

---

[43] Примечания: 43
Паштет (франц.).

[44] Примечания: 44
«Сочинения Бон-Бона» (франц.).

шпером, вилка для поджаривания хлеба — бок о бок с Евсевием, Платон поместился на сковороде, куча рукописей — на вертеле.

В других отношениях кафе de Bon-Bon не отличалось существенно от обыкновенных трактиров того времени. Огромный камин разевал свою пасть прямо против двери. Направо от камина, в открытом буфете, виднелась чудовищная армия бутылок с ярлыками.

Здесь-то в морозную зиму, около двенадцати часов ночи, Пьер Бон-Бон, прослушав комментарии соседей по поводу его странной наклонности, здесь-то, говорю я, вытолкав гостей за дверь и с ругательством затворив за ними дверь, Пьер Бон-Бон, в довольно сердитом настроении духа, кинулся в мягкое кожаное кресло перед ярко пылавшим огнем.

Была страшная ночь, одна из тех ночей, которые случаются раз или два в столетие. Снег валил, стены тряслись от ветра, который, пробираясь сквозь щели и трубы, колыхал полог кровати философа и нарушал порядок его кастрюль и бумаг. Огромная вывеска в виде фолианта, висевшая снаружи, страшно скрипела и стонала, несмотря на крепкие дубовые стойки.

Как я уже сказал, метафизик занял свое обычное

место перед камином в не особенно миролюбивом настроении духа. Ряд неприятностей, случившихся в этот день, нарушил его обычную ясность. Задумав des oeufs à la Princesse[45], он нечаянно состряпал omelette à la Reine[46]; открывая новый этический принцип, опрокинул тушеное мясо; и в довершение всего, ему помешали заключить одну из тех удивительных сделок, которые всегда были его главной утехой. Но независимо от этих неприятностей он не мог не испытывать нервного беспокойства, которое всегда возбуждает бурная ночь. Подозвав поближе своего огромного черного водолаза, о котором мы уже говорили, и беспокойно поворочавшись в кресле, он невольно окинул подозрительным взором отдаленные уголки комнаты, непроглядную тьму которых не мог разогнать даже яркий огонь камина. Кончив этот осмотр, цель которого оставалась непонятной для него самого, он придвинул к себе столик, заваленный бумагами и книгами, и вскоре углубился в просматривание объемистой рукописи, которая должна была завтра отправиться в печать.

---

[45] Примечания: 45
Глазунья а-ля принцесса (франц.).

[46] Примечания: 46
Омлет а-ля королева (франц.).

Он прозанимался таким образом несколько минут, как вдруг кто-то прошептал плаксивым тоном:

— Мне не к спеху, господин Бон-Бон.

— Черт! — воскликнул наш герой, вскакивая, опрокидывая стол и осматриваясь в изумлении.

— Совершенно верно, — спокойно ответил тот же голос.

— Совершенно верно? Что такое совершенно верно? Как вы попали сюда? — воскликнул метафизик, и взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину его кровати.

— Я уже сказал, — продолжал незнакомец, не отвечая на вопрос, — я уже сказал, что время терпит, что дело, по поводу которого я взял на себя смелость явиться к вам, не особенно спешное, словом, что я могу подождать, пока вы кончите свое «Толкование».

— Мое «Толкование»! Вот тебе и раз! Почем вы знаете? Кто вам сказал, что я пишу «Толкование»? Господи, боже мой!

— Тсс… — прошипел незнакомец и, быстро соскочив с постели, сделал шаг к нашему герою, причем железная лампа, привешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.

Изумление философа не помешало ему рассмот-

реть костюм и наружность нежданного гостя. Очертания его фигуры, чрезвычайно тощей, но гораздо выше среднего роста, выступали очень резко благодаря потертой черной паре, плотно охватывавшей тело, но сшитой по моде прошлого столетия. Эта одежда, очевидно, предназначалась для особы гораздо меньшего роста, чем ее настоящий владелец. Руки и лодыжки высовывались из рукавов и штанин на несколько дюймов. Пара блестящих пряжек на башмаках противоречила нищенскому виду остального костюма. Голова была без шляпы и совершенно лысая, за исключением затылка, на котором волосы были собраны в виде длинной косицы. Синие очки защищали его глаза от света и вместе с тем не позволяли нашему герою рассмотреть их цвет и величину. Рубашки на нем и признаков не было; зато был грязный белый галстук, аккуратно повязанный вокруг шеи, с длинными концами, придававшими его фигуре (хотя я думаю — неумышленно) вид духовной особы. Впрочем, и другие особенности его костюма и манер могли внушить ту же мысль. За левым ухом у него торчал, как у современных конторщиков, инструмент, который древние называли стило. Из кармана на груди выглядывала черная книжка со стальными

застежками. Случайно или нарочно книжка эта была обращена верхней стороной наружу, так что всякий мог прочесть на переплете заглавие белыми буквами: «Rituel Catholique»[47]. Физиономия его отличалась интересной свинцовой, даже мертвенной бледностью. Высокий лоб был изборожден морщинами. Углы рта опускались вниз с выражением самого покорного смирения. Молитвенно сложенные руки, общее выражение елейной святости невольно располагали в его пользу. Последняя тень гнева сбежала с лица метафизика и, осмотрев с ног до головы посетителя, он приветливо пожал ему руку и предложил стул.

Было бы, однако, величайшей ошибкой приписывать эту внезапную перемену в настроении духа философа какой-нибудь из тех причин, которые обыкновенно вызывают подобные действия. Насколько я знаю Пьера Бон-Бона, он менее чем кто-либо способен был поддаться обманчивой внешности. Такой тонкий наблюдатель людей и вещей не мог не раскусить с первого взгляда, что за гость явился к нему. Замечу, что нога посетителя была очень странной формы, что он держал

---

[47] Примечания: 47
Католический требник (франц.).

над головой необычайной величины шляпу, что задняя часть его панталон как-то странно вздувалась, и фалды фрака заметно шевелились. Судите же сами об удовольствии нашего героя, когда он увидел себя в обществе особы, к которой всегда питал глубочайшее почтение. Он был, однако, слишком тонкий дипломат, чтобы выдать свои подозрения хоть малейшим намеком. В его намерения вовсе не входило показать, что он сознает высокую честь, которой удостоился так неожиданно; ему хотелось завлечь гостя в разговор и выудить у него какие-нибудь важные этические идеи, которые могли бы, найдя место в предполагаемом издании, просветить человечество и обессмертить автора, — идеи, которых смело можно было ожидать от посетителя помня о его преклонном возрасте и всем известной опытности в вопросах морали.

Обуреваемый столь хитроумным планом, наш герой и предложил гостю стул, подкинул в огонь вязанку хвороста, расставил на столе несколько бутылок игристого вина. Затем уселся на кресле vis-à-vis с посетителем и ожидал, пока тот начнет беседу.

— Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон, — сказал гость, — ха! ха! ха! — хе! хе! хе! — хи! хи! хи! —

хо! хо! хо! — ху! ху! ху! — и, отбросив личину набожности, разинул рот до ушей, обнаружив ряд острых, страшных зубов, закинул назад голову и закатился долгим, громким, бесстыдным, оглушительным хохотом. Черная собака, припав на задние лапы, весело принялась вторить, а пестрая кошка, выгнув дугою спину, завизжала в отдаленнейшем углу комнаты.

Философ молчал: он был слишком светский человек, чтобы смеяться, подобно собаке, или визгом обнаруживать неприличный испуг, подобно кошке. Надо сознаться, он несколько удивился, заметив, что цвет и смысл белой надписи «Rituel Gatholique» на книжке в кармане гостя мгновенно изменились, и на месте прежнего заглавия засияли ярко-красными буквами слова: «Regîstre des Condamnes»[48]. Этим поразительным обстоятельством объясняется несколько смущенный тон философа, когда он ответил на замечание гостя:

— Видите ли… правду сказать… мне кажется… мне сдается… что вы прокл… то есть… я думаю… я подозреваю… у меня явилась смутная… да, смутная мысль… о высокой чести…

— Ох!.. Ух!.. Да!.. Ладно!.. — перебил его величе-

---

[48] Примечания: 48
«Реестр обреченных» (франц.).

ство, — довольно... я понимаю в чем дело... — говоря это, он снял очки, тщательно вытер стекла рукавом и спрятал в карман.

Если происшествие с книгой поразило Бон-Бона, то теперь его изумление достигло крайних пределов. Он с живейшим любопытством взглянул в глаза своему гостю и убедился, что они вовсе не черные, как он ожидал, и не серые, как можно бы было думать, и не карие, и не голубые, и не желтые, и не красные, и не пурпуровые, и не белые, и не зеленые, и вообще никакого из цветов, имеющихся на небеси горе, или на земле низу, или в водах под землею. Короче сказать, Пьер Бон-Бон убедился, что у его величества вовсе нет глаз и, по-видимому, никогда не было, так как на тех местах, где они обыкновенно помещаются, оказалась совершенно гладкая кожа.

Разумеется, метафизик не преминул осведомиться о причине столь странного явления, и ответ его величества отличался прямотой, достоинством и убедительностью.

— Глаза! Любезный Бон-Бон, — глаза, говорите вы? О! А! Понимаю! Нелепые рисунки, распространенные среди публики, дали вам совершенно ложное представление о моей наружности, правда? Глаза!.. Да! Глаза, Пьер Бон-Бон, должны

находиться на своем месте, то есть в голове. Вам тоже необходимы эти оптические аппараты, но, уверяю вас, мое зрение острее вашего. Вон я вижу кошку в углу — хорошенькая кошечка, взгляните на нее, вглядитесь хорошенько! Что же, Бон-Бон, видите вы ее мысли, мысли? Я подразумеваю идеи, размышления, которые зарождаются под ее черепом? Ведь нет, не видите? Она думает, что мы восхищаемся длиной ее хвоста и глубиной ее ума. Сейчас только она решила, что я в высшей степени представительная духовная особа, а вы самый поверхностный из метафизиков. Как видите, я не вовсе слеп; но при моей профессии глаза, о которых вы говорите, были бы только помехой; они каждую минуту рисковали бы быть выколотыми железным шестом или вилами для поджаривания грешников. Но вам эти оптические приборы необходимы. Ну и пользуйтесь ими, Бон-Бон, как можно лучше; мое же зрение — душа.

Тут посетитель взял бутылку, налил стакан Бон-Бону и попросил его пить без всякого стеснения и вообще быть как дома.

— Умную книгу написали вы, Пьер, — продолжал его величество, дружески хлопнув по плечу нашего приятеля, который меж тем осушил стакан, который налил ему гость. — Умную книгу

вы написали, честное слово. Она мне очень понравилась. Изложение, впрочем, могло бы быть лучше, и многие из ваших взглядов напоминают Аристотеля. Этот философ был моим закадычным другом. Я любил его за невозможный характер и смелое вранье. Во всех его писаниях есть только одна верная мысль, да и ту я подсказал ему, сжалившись над его глупостью. Полагаю, Пьер Бон-Бон, вы знаете, о какой возвышенной моральной истине я говорю.

— Не могу сказать, чтобы я…

— В самом деле! Так вот: это я надоумил его, что, чихая, люди высмаркивают из носу лишние мысли.

— Без сомнения, это — уэ (икает) — совершенно верно, — сказал метафизик, наливая себе еще стакан и предлагая гостю табакерку.

— Был там еще Платон, — продолжал его величество, скромно отклоняя табакерку и комплимент, — был там еще Платон, к которому я тоже чувствовал дружеское расположение. Вы знакомы с Платоном, Бон-Бон? Ах, да, виноват. Однажды он встретился со мною в Афинах, в Парфеноне, и признался, что ему смертельно хочется раздобыть идею. Я посоветовал ему на-

писать ο νους εστιν αυλος[49]. Он обещал сделать это и пошел домой, а я полетел к пирамидам. Но совесть мучила меня за то, что я сказал истину, хотя бы ради друга. Я вернулся в Афины и явился к философу в ту самую минуту, когда он писал «αυλος». Толкнув пальцем лямбду (λ), я опрокинул ее вверх ногами. Вышло «ο νους εστιν αυλος»[50] — положение, ставшее, как вам известно, основной доктриной метафизики.

— Были вы когда-нибудь в Риме? — спросил ресторатор, прикончив вторую бутылку шампанского и доставая из буфета шамбертен.

— Только раз, monsieur Бон-Бон, только раз. Это случилось, — продолжал дьявол, точно цитируя из книги, — это случилось в эпоху анархии, длившейся пять лет, когда республика, оставшись без должностных лиц, управлялась исключительно трибунами, не облеченными притом исполнительной властью. В это-то время, monsieur Бон-Бон, и только в это время я был в Риме, так что не мог познакомиться на земле с его фило-

---

[49] Примечания: 49
Разум есть свирель (греч.).

[50] Примечания: 50
Разум есть глаз (испорч. греч.).

софией[51].

— Что вы думаете… Что вы думаете… уэ!.. об Эпикуре?

— О ком? — с удивлением переспросил дьявол, — неужто вы решитесь в чем-нибудь упрекнуть Эпикура? Что я думаю об Эпикуре? Поймите меня, сударь, — ведь «я» и есть Эпикур! Я тот самый философ, написавший триста трактатов, о которых упоминает Диоген Лаэрций.

— Это ложь! — сказал метафизик, которому вино немножко ударило в голову.

— Очень хорошо! Очень хорошо, сударь! Прекрасно, сударь! — отвечал его величество, крайне польщенный.

— Это ложь! — повторил авторитетным тоном Бон-Бон, — это — уэ! — ложь!

— Хорошо, хорошо, будь по-вашему! — сказал дьявол миролюбиво, а Бон-Бон, чтобы отметить победу над его величеством, счел своим долгом прикончить вторую бутылку шамбертена.

— Как я уже сказал, — продолжал посетитель, — как я заметил несколько минут тому

---

[51] Примечания: 51

Ils écrivaient sur la Philosophie (Cicero, Lucretius, Seneca), mais c'etait la Philosophie Grecque. — Condorcet. Они писали о философии (Цицерон, Лукреций, Сенека), но то была греческая философия. — Кондорсе (франц.).

назад, многое в вашей книге чересчур вычурно, monsieur Бон-Бон. Что вы порете, например, о душе? Скажите, пожалуйста, сударь, что такое душа?

— Душа, — уэ, — душа, — ответил метафизик, заглядывая в свою рукопись, — бесспорно…

— Нет, сударь!

— Без сомнения…

— Нет, сударь!

— Неоспоримо…

— Нет, сударь!

— Очевидно…

— Нет, сударь!

— Неопровержимо…

— Нет, сударь!

— Уэ!

— Нет, сударь!

— И вне всяких споров…

— Нет, сударь, душа вовсе не то! — Тут философ, бросив на собеседника злобный взгляд, поспешил положить конец спору, осушив третью бутылку шамбертена.

— В таком случае — уэ, — скажите, пожалуйста, что же, что же такое душа?

— Ни то ни се, monsieur Бон-Бон, — отвечал его величество задумчивым тоном. — Я пробовал, то

есть, я хочу сказать, знавал очень плохие души и очень недурные. — Тут он причмокнул губами и, машинально схватившись за книжку, высовывавшуюся из кармана, страшно расчихался. Потом продолжал:

— Душа Кратинуса была так себе; Аристофана вкусна; Платона превосходна, не вашего Платона, а комического поэта, от вашего Платона стошнило бы Цербера — фа! Затем, позвольте! были там Невий, и Андроник, и Плавт, и Теренций! Были Люцилий, и Катулл, и Назон, и Квинт Флакк, милый Квинтик, как я называл его, когда он потешал меня своими песенками, а я поджаривал его — так, шутки ради — на вилке. Но у этих римлян не хватает букета. Один жирный грек стоит дюжины римлян, к тому же он не скоро портится, чего нельзя сказать о квиритах. — Попробуем-ка вашего сотерна.

Между тем Бон-Бон оправился и, порешив nil admirari[52], достал несколько бутылок сотерна. Он, однако, услышал странный звук: точно кто-то махал хвостом. Философ сделал вид, что не замечает этого крайне неприличного поведения его величества, и ограничился тем, что дал пинка

---

[52] Примечания: 52
Ничему не удивляться (лат.).

собаке и велел ей лежать смирно. Посетитель продолжал:

— Я нахожу, что Гораций сильно отзывался Аристотелем. Я, знаете, обожаю разнообразие. Теренция я не мог бы отличить от Менандра. Назон, к моему изумлению, оказался тот же Никандр, хотя и под другим соусом. Вергилий напоминал Теокрита, Марциал — Архилоха, а Тит Ливий был положительно вторым Полибием.

— Уэ! — ответил Бон-Бон.

— Но я питаю склонность, monsieur Бон-Бон, я питаю склонность к философам. А с вашего позволения, сударь, не каждый черт, я хочу сказать, не всякий джентльмен сумеет выбрать философа. Длинные нехороши, и самый лучший, если его не облупить хорошенько, отзывается желчью.

— Облупить!

— То есть вынуть из тела.

— А как вы находите, уэ! врачей?

— И не говорите! Тьфу! Тьфу! (его величество вырвало). — Я раз только попробовал одного, этого шельму Гиппократа, и вонял же он ассафетидой!.. Я простудился, промывая его в Стиксе, и в конце концов схватил холеру.

— Жалкая — уэ! — тварь, — воскликнул Бон-Бон, — микстурное отродье!

И философ уронил слезу.

— В конце концов, — продолжал посетитель, — в конце концов, если чер… если джентльмен хочет оставаться в живых, ему нужно-таки поработать головой; полное лицо у нас — явный признак дипломатических способностей.

— Как так?

— Видите ли, нам приходится подчас терпеть крайний недостаток в съестных припасах. В нашем знойном климате душа редко остается в живых долее двух-трех дней, а после смерти, если не посолить немедленно (соленые же души невкусны), она начинает… припахивать… — понимаете, э? Когда души достаются нам обыкновенным путем, больше всего приходится опасаться гниения.

— Уэ! — уэ! — Боже мой! Как же вы изворачиваетесь?

Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол подскочил на стуле; однако, слегка вздохнув, оправился и только заметил вполголоса нашему герою:

— Послушайте, Пьер Бон-Бон, вы не должны употреблять таких выражений!

Хозяин осушил еще стакан в знак согласия и понимания, и посетитель продолжал:

— Изворачиваемся различными способами: иные голодают, иные питаются солеными душами, я же покупаю их живьем, в таких случаях они прекрасно сохраняются.

— А тело! уэ! — тело!!!

— Тело, тело — причем же тут тело? — А! — Да! — Понимаю. Изволите видеть, тело ничуть не страдает при таких сделках. Я заключил их бесчисленное множество, и никогда продавцы не терпели ни малейшего ущерба. Так было с Каином, Немвродом, Нероном, Калигулой, Дионисием и с тысячами других, которые как нельзя лучше обходились без души значительную часть своей жизни. А ведь эти люди были украшением общества, милостивый государь. Да вот хоть бы наш общий знакомый А. Разве он не владеет замечательными способностями, духовными и физическими? Кто пишет более колкие эпиграммы? Кто рассуждает с таким остроумием? Кто… Но позвольте! Его условие при мне.

Говоря это, гость достал красный кожаный бумажник, в котором оказалась пачка документов. На некоторых из них Бон-Бон заметил начала слов «Макиа…», «Маза…», «Робесп…» и слова: «Калигула», «Георг», «Елизавета». Его величество выбрал из пачки узенький листок пергамента и

прочел вслух следующее:

— За некоторые умственные преимущества и тысячу луидоров я, в возрасте одного года и одного месяца, уступаю предъявителю этой расписки все права распоряжения, пользования и владения тенью, которая называется моей душой. Подписано А…[53]

Его величество прочел фамилию, которую я не считаю себя вправе приводить здесь.

— Умный малый, — прибавил он, — но, подобно вам, monsieur Бон-Бон, заблуждался насчет души. Душа — тень, как бы не так! Душа — тень! Ха! ха! ха! Хе! хе! хе! Хо! хо! хо! Подумайте только — фрикасе из тени!

— Подумайте только — уэ! — фрикасе из тени! — воскликнул наш герой, почувствовав, что мыслительные способности значительно увеличились, благодаря глубокомысленным разговорам его величества.

— Подумайте только — уэ! — фрикасе из тени!! Черт побери! — уэ! — ух! — Я не такой — уэ! — олух! Моя душа, сударь…

— Ваша душа, monsieur Бон-Бон!

— Да, сударь — уэ! — моя душа не…

---

[53] Примечания: 53
Quere — Аруэ?

— Что такое, милостивый государь?

— Не тень, черт побери.

— Вы не хотите сказать…

— Моя душа — уэ! — будет очень вкусна — уэ!

— Что такое?

— Тушеная.

— Ха!

— Шпикованная.

— Э!

— Рубленая.

— Право?

— В виде рагу или соуса, и знаете ли что, милейший? Я готов вам уступить ее — уэ! — При этом философ шлепнул его величество по спине.

— Не имею ни малейшего желания, — отвечал последний спокойно, вставая со стула. Метафизик выпучил глаза.

— Я уже запасся душами, — сказал его величество.

— Уэ! — э? — сказал философ.

— Да я и не при деньгах.

— Что?

— К тому же было бы некрасиво с моей стороны…

— Милостивый государь!

— Пользоваться…

— Уэ!

— Вашим отвратительным и недостойным порядочного человека состоянием.

Гость поклонился и исчез — каким образом, никто бы не мог объяснить, — но когда хозяин запустил в «проклятого» бутылкой, она задела цепочку, на которой висела лампа, и эта последняя грохнулась на пол, свалив по пути метафизика.

Страницы из жизни знаменитости[54]

...и весь народ
От изумления разинул рот.

Сатиры епископа Холла

Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса», ни Железная Маска, ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде.

Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.

К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разнюхает дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.

---

[54] Примечания: 54

© Перевод. В. Рогов.

Когда я достиг совершеннолетия, отец мой както пригласил меня зайти к нему в кабинет.

— Сын мой, — спросил он, когда мы уселись, — какова главная цель твоего существования?

— Батюшка, — отвечал я, — она заключается в изучении носологии.

— Роберт, — осведомился он, — а что такое носология?

— Сэр, — пояснил я, — это наука о носах.

— И можешь ли ты сказать мне, — вопросил он, — что такое нос?

— Нос, батюшка, — начал я, весьма польщенный, — пытались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей. — Тут я вытащил часы. — Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройтись по всем. Итак, начнем: нос, по Бартолину, — та выпуклость, тот нарост, та шишка, то…

— Полно, полно, Роберт! — перебил достойный старый джентльмен. — Я потрясен обширностью твоих познаний… Я прямо-таки… Ей-богу… — Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце. — Поди сюда! — Тут он взял меня за плечо. — Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться — и лучше всего тебе держать нос по ветру — вот

так-так-так. — Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу. — Так что пошел вон из моего дома, и бог да благословит тебя!

Чувствуя в себе божественный afflatus[55], я счел этот случай скорее счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.

Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.

— Чудесный гений! — сказали в «Ежеквартальном».

— Непревзойденный физиолог! — сказали в «Вестминстерском».

— Умный малый! — сказали в «Иностранном».

— Отличный писатель! — сказали в «Эдинбургском».

— Глубокий мыслитель! — сказали в «Дублинском».

— Великий человек! — сказал «Бентли».

— Высокий дух! — сказал «Фрейзер».

— Он наш! — сказал «Блэквуд».

— Кто он? — спросила миссис Bas-Bleu[56].

— Что он? — спросила старшая мисс Bas-Bleu.

---

[55] Примечания: 55
Вдохновение (лат.).

[56] Примечания: 56
Синий чулок (франц.).

— Где он? — спросила младшая мисс Bas-Bleu.

Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.

Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогинина пуделя; граф Как-Бишь-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облокачивался о спинку ее кресла.

Я подошел к живописцу и задрал нос.

— Ах, какая красота! — вздохнула ее светлость.

— Ах, боже мой! — прошепелявил маркиз.

— Ах, ужас! — простонал граф.

— Ах, мерзость! — буркнул его королевское высочество.

— Сколько вы за него возьмете? — спросил живописец.

— За его *нос*! — вскричала ее светлость.

— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.

— Тысячу фунтов? — задумчиво осведомился живописец.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Какая красота! — зачарованно сказал он.

— Тысячу фунтов! — сказал я.

— И вы гарантируете? — спросил он, поворачивая мой нос к свету.

— Гарантирую, — сказал я и как следует высморкался.

— И он *совершенно* оригинален? — осведомился живописец, почтительно касаясь его.

— Пф! — сказал я и скривил его набок.

— И его *ни разу* не воспроизводили? — справился живописец, рассматривая его в микроскоп.

— Ни разу, — сказал я и задрал его.

— Восхитительно! — закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Именно, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал я.

— Вы их получите, — сказал он. — Что за virtù[57]! — и он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос. Я снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопай, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.

---

[57] Примечания: 57
Произведение искусства, редкость (ит.).

Мы все знаменитости и recherchés[58].

Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гиерокла, Максима Тирского и Сириана.

Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристли, Кондорсе, де Сталь и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».

Присутствовал сэр Позитив Парадокс. Он отметил, что все дураки — философы, а все философы — дураки.

Присутствовал Эсгетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах, о раздвоении и прабытии души; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеомерии.

Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии и Арии; о ереси и Никейском соборе; о пьюзэизме и пресуществлении; о гомузии и гомуйозии.

Присутствовал мосье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом velouté; телятину à la St. Menehoult; маринад à la St. Florentin и апельси-

---

[58] Примечания: 58
Изысканные люди (франц.).

новое желе en mosaï ques[59].

Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сен-жорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.

Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччо и Агостино; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано, о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена.

Присутствовал президент Бели-Бердского университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой, в Египте — Бубастидой, в Риме — Дианой, а в Греции — Артемидой.

Присутствовал паша из Стамбула. Он не мог не думать, что у ангелов обличье лошадей, петухов и быков, что у кого-то в шестой небесной сфере семьдесят тысяч голов, и что земля покоится на голубой корове, у которой неисчислимое множество зеленых рогов.

Присутствовал Дельфинус Полиглот. Он со-

---

[59] Примечания: 59
Французские названия различных блюд.

общил нам, куда девались не дошедшие до нас восемьдесят три трагедии Эсхила; пятьдесят четыре ораторских опыта Исея; триста девяносто одна речь Лисия; сто восемьдесят трактатов Феофраста; восьмая книга Аполлония о сечениях конуса; гимны и дифирамбы Пиндара; и тридцать пять трагедий Гомера Младшего.

Присутствовал Майкл Мак-Минерал. Он осведомил нас о внутренних огнях и третичных образованиях; о веществах газообразных, жидких и твердых; о кварцах и мергелях; о сланце и турмалине; о гипсе и траппе; о тальке и кальции; о цинковой обманке и роговой обманке; о слюде и шифере; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и о чем вам угодно.

Присутствовал я. Я говорил о себе; о себе, о себе, о себе; о носологии, о моей брошюре и о себе. Я задрал мой нос, и я говорил о себе.

— Поразительно умен! — сказал принц.

— Великолепен! — сказали его гости; и на следующее утро ее светлость герцогиня Шут-Дери нанесла мне визит.

— Ты пойдешь к Элмаку, красавчик? — спросила она, похлопывая меня под подбородком.

— Даю честное слово, — сказал я.

— Вместе с носом? — спросила она.

— Клянусь честью, — отвечал я.

— Так вот тебе, жизненочек, моя визитная карточка. Могу я сказать, что ты *хочешь* туда пойти?

— Всем сердцем, дорогая герцогиня.

— Фи, нет! — но всем ли носом?

— Без остатка, любовь моя, — сказал я; после чего дернул носом раз-другой и очутился у Элмака.

Там была такая давка, что стояла невыносимая духота.

— Он идет! — сказал кто-то на лестнице.

— Он идет! — сказал кто-то выше.

— Он идет! — сказал кто-то еще выше.

— Он пришел! — воскликнула герцогиня. — Пришел, голубчик мой! — И крепко схватив меня за обе руки, троекратно поцеловала в нос. Это произвело немедленную сенсацию.

— Diavolo[60]! — вскричал граф Козерогутти.

— Dios guarda[61]! — пробормотал дон Стилетто.

— Mille tonnerres[62]! — возопил принц де Ля Гуш.

---

[60] Примечания: 60
Дьявол! (ит.)

[61] Примечания: 61
Боже сохрани! (исп.)

[62] Примечания: 62
Тысяча громов! (франц.)

— Tausend Teufel[63]! — проворчал курфюрст Крофошатцский. Этого нельзя было снести. Я разгневался. Я резко повернулся к курфюрсту.

— Милсдарь, — сказал я ему, — вы скотина.

— Милсдарь, — ответил он после паузы, — Donner und Blitzen[64]! Большего нельзя было и желать. Мы обменялись визитными карточками. На другое утро, под Чок-Фарм, я отстрелил ему нос — и поехал по друзьям.

— Bête[65]! — сказал один.

— Дурак! — сказал второй.

— Болван! — сказал третий.

— Осел! — сказал четвертый.

— Кретин! — сказал пятый.

— Идиот! — сказал шестой.

— Убирайся! — сказал седьмой.

Я был убит подобным приемом и поехал к отцу.

— Батюшка, — спросил я, — какова главная цель моего существования?

— Сын мой, — ответствовал он, — это все еще

---

[63] Примечания: 63
Тысяча чертей! (нем.)

[64] Примечания: 64
Гром и молния! (нем.)

[65] Примечания: 65
Дурак! (франц.)

занятия носологией; но, попав в нос курфюрсту, ты перестарался и допустил перелет. У тебя превосходный нос, это так, но у курфюрста Крофошатцского теперь вообще никакого нет. Ты проклят, а он стал героем дня. Согласен, что в Бели-Берде слава прямо пропорциональна величине носа, но — боже! — никто не посмеет состязаться со знаменитостью, у которой носа вообще нет.

Тень. Парабола[66]

Если я пойду и долиною тени…

Псалом Давида

Вы, читающие, находитесь еще в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней. Ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. А увидев, иные не поверят, иные усумнятся, и все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, вырезанных здесь железным стилосом.

Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду, над морем и над сушею, распростерлись черные крыла Чумы. И все же тем, кто постиг движения светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло; и мне, греку Ойносу, в числе прочих, было ясно, что настало завершение того 794 года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным

---

[66] Примечания: 66

© Перевод. В. Рогов.

кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества.

Над бутылями красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде, сидели мы ночью, всемером. И в наш покой вел только один вход: через высокую медную дверь; и она, вычеканенная искуснейшим мастером Коринносом, была заперта изнутри. Черные завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас Луну, зловещие звезды и безлюдные улицы, но предвещанье и память Зла они не могли отгородить. Вокруг нас находилось многое: и материальное и духовное, что — я не могу точно описать: тяжесть в атмосфере… ощущение удушья… тревога и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почиют сном. Мертвый груз давил на нас. Он опускался на наши тела, на убранство зала, на кубки, из которых мы пили; и все склонялось и никло — все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Вздымаясь высокими, стройными полосами света, они горели, бледные и недвиж-

ные; и в зеркале, образованном их сиянием на поверхности круглого эбенового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глазах сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присущим нам образом, то есть истерично; и пели песни Анакреона, то есть безумствовали; и жадно пили, хотя багряное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель — юный Зоил. Мертвый, лежал он простертый, завернутый в саван — гений и демон сборища. Увы! Он не участвовал в нашем веселье, разве что его облик, искаженный чумою, и его глаза, в которых смерть погасила моровое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении и, пристально вперив мой взор в глубину эбенового зеркала, громко и звучно пел песни теосца. Но понемногу песни мои прервались, а их отголоски, перекатываясь в черных, как смоль, завесах покоя, стали тихи, неразличимы и, наконец, заглохли. И внезапно из черных завес,

заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень — подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры — но то не была тень человека или бога, или какого-либо ведомого нам существа. И зыблясь меж завес покоя, она в конце концов застыла на меди дверей. Но тень была неясна, бесформенна и неопределенна, не тень человека и не тень бога — ни бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди дверей, под дверным сводом, и не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижно на месте, и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы семеро, увидев тень выходящего из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, промолвив несколько тихих слов, вопросил тень об ее обиталище и прозвании. И тень отвечала: «Я — Тень, и обиталище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу». И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одно-

го существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей.

Как писать рассказ для «Блэквуда»[67]

«Во имя пророка – фиги!»

Крик продавцов фиг в Турции

Полагаю, что обо мне слышали все. Меня зовут синьора Психея Зенобия. Это достоверно мне известно. Никто кроме моих врагов не называет меня Сьюки Снобз. Мне говорили, что «Сьюки» является вульгарным искажением имени «Психея», а это — хорошее греческое имя, означающее «душа» (оно очень ко мне подходит, я — *сплошная* душа!), а также «бабочка»; ну а это, несомненно, относится к моей внешности, когда я надеваю новое платье малинового атласа, с небесно-голубой арабской *мантильей*, с отделкой из зеленых agraffes[68] и семью оборками из оранжевых auriculas[69]. Что касается фамилии Снобз — то на меня достаточно взглянуть, чтобы убедиться, что

---

[67] Примечания: 67
© Перевод. З. Александрова.

[68] Примечания: 68
Застежек (франц.).

[69] Примечания: 69
Здесь: розеток (лат.).

я не Снобз. Мисс Табита Турнепс распространила этот слух просто из зависти. Табита Турнепс! Этакая негодяйка! Но чего можно ожидать от турнепса? Интересно, помнит ли она старинную поговорку насчет «крови из турнепса»? (Не забыть напомнить ей об этом при первом случае). (Не забыть также показать ей нос). На чем, бишь, я остановилась? Ах, да! Меня уверяют, что Снобз — это искаженное «Зенобия»; что Зенобия была царицей (Я тоже. Доктор Денепрош всегда называет меня царицей сердец); что Зенобия, как и Психея, — слово греческое; что мой отец был «греком», и, следовательно, я имею право на нашу фамилию — Зенобия, но никоим образом не Снобз. Никто кроме Табиты Турнепс не зовет меня Сьюки Снобз. Я — синьора Психея Зенобия.

Как я уже сказала, обо мне слышали все. Я — та самая Психея Зенобия, пользующаяся заслуженной известностью в качестве корреспондента *Союза Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями*. Такое название придумал для нас доктор Денеггрош, и придумал, как он говорит, потому, что оно звучит громко, точно пустая бочка из-под рома. (Иногда он бывает грубоват,

но какой это умный человек!) Все мы ставим эти буквы после наших фамилий, как это делают члены К.Х.О. — Королевского Художественного Общества, члены О.Р.П.З. — Общества по Распространению Полезных Знаний и т. п. Д-р Денеггрош говорит, что «П» означает «протухший» и что все вместе должно читаться «Общество по Распознаванию Протухших Зайцев», а вовсе не общество лорда Брума — но доктор Денеггрош такой чудак! — не знаешь, когда он говорит с вами серьезно. Во всяком случае, мы всегда прибавляем к нашим фамилиям буквы С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. — то есть Союз Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями — по букве на каждое слово, гораздо лучше, чем у лорда Брума. Доктор Денеггрош утверждает, будто эти буквы отлично нас описывают, но я право не понимаю, что он этим хочет сказать.

Несмотря на содействие доктора Денеггроша и усиленные старания самого общества привлечь к себе внимание, оно не имело большого успеха, пока туда не вступила Я. По правде сказать, члены общества позволяли себе чересчур легкомысленный тон. Еженедельные субботние

доклады отличались более буффонством, нежели глубокомыслием. Так — какой-то гоголь-моголь. Никакого исследования первопричин или первооснов. Да и вообще никакого исследования. Ни малейшего внимания величайшей из проблем — проблеме всеобщего соответствия. Словом, ничего похожего на то, как пишу я. Все было на низком — весьма низком! — уровне. Ни глубины, ни эрудиции, ни философии — ничего того, что ученые зовут духовностью, а невежды — жеманством.

Вступив в общество, я постаралась ввести там более высокие мысли и более изысканный слог, и всему свету известно, что это мне отлично удалось. Сейчас С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. сочиняют рассказы ничуть не хуже, чем даже в «Блэквуде». Я говорю о «Блэквуде» потому, что слышала, будто лучшие статьи на любую тему можно найти именно на страницах этого заслуженно знаменитого журнала. Мы теперь во всем берем его за образец и поэтому быстро приобретаем известность. Ведь если взяться за дело умеючи, не так уж трудно написать настоящий блэквудовский рассказ. Разумеется, я не говорю о статьях политических. Все знают, как они составляются, с тех пор, как это объяснил доктор

Денеггрош. Мистер Блэквуд берет портновские ножницы, а рядом стоят наготове трое учеников. Один подает ему «Таймс», другой — «Экзаминер», а третий — «Руководство по Динь-Бому» мистера Гальюна. Мистеру Блэквуду остается только вырезать и перемешивать. Делается это очень быстро. «Экзаминер», «Динь-Бом», «Таймс», потом — «Таймс», «Динь-Бом» и «Экзаминер», а затем — «Таймс», «Экзаминер» и «Динь-Бом».

Но главным украшением журнала являются очерки и рассказы на различные темы; лучшие из них относятся к разряду bizarerries[70], по выражению доктора Денеггроша (что бы это ни означало), тогда как все другие называют их сенсационными. Этот вид литературы я всегда высоко ценила, но о способах его создания узнала лишь после того, как недавно (по поручению общества) посетила мистера Блэквуда. Способ весьма прост, хотя и менее прост, чем для статей политических. Явившись к мистеру Блэквуду и изложив ему пожелания нашего общества, я была принята им с большой учтивостью и приглашена к нему в кабинет, где получила точные указания относительно всей процедуры.

---

[70] Примечания: 70
Странностей (франц.).

— Сударыня, — сказал он, явно пораженный моим величественным видом, ибо на мне было малиновое атласное платье с зелеными agraffas и оранжевыми auriculas, — *сударыня*, — сказал он, — прошу вас сесть. Дело обстоит следующим образом. Прежде всего автор сенсационных рассказов должен обзавестись очень черными чернилами и очень большим пером с очень тупым концом. И заметьте себе, мисс Психея Зенобия! — продолжал он после паузы, весьма внушительным и торжественным тоном. — Заметьте себе: *это перо — никогда — не следует чинить*! Вот, мэм, в чем заключен весь секрет и самая душа сенсационного рассказа. Я берусь утверждать, что никто, даже величайший гений, никогда не писал — прошу меня понять — хороших рассказов хорошим пером. Можете не сомневаться: если рукопись легко разобрать, то ее не стоит и читать. Таков один из наших основных принципов, и если вы с ним не согласны, наша беседа окончена.

Он умолк. Не желая кончать беседу, я, разумеется, согласилась со столь очевидным положением, в котором, кстати, давно была убеждена. Он, видимо, остался доволен и продолжал меня наставлять.

— Быть может, мисс Психея Зенобия, с моей стороны было бы дерзостью указывать какой-либо наш рассказ или рассказы в качестве образца; и все же на некоторые из них я должен обратить ваше внимание. Позвольте припомнить. Был, например, «Живой мертвец» — отличная вещь! Там описаны ощущения одного джентльмена, которого похоронили, прежде чем он испустил дух, — бездна вкуса, ужаса, чувства, философии и эрудиции. Можно поклясться, что автор родился и вырос в гробу. Затем была у нас «Исповедь курильщика опиума» — великолепное сочинение! Богатство фантазии — глубокие мысли острые замечания — много огня и пыла — и достаточная доза непонятного. Весьма увлекательный вздор, и читатель проглотил его с наслаждением. Говорили, что автором был Колридж, — ничего подобного. Это было сочинено моим ручным павианом Джунипером за стаканом голландского джина с водой, «горячего и без сахара». (Этому я, пожалуй, не поверила бы, если бы не услышала от самого мистера Блэквуда.) А то еще был «Экспериментатор поневоле» — о джентльмене, которого запекли в печи, но он оттуда вышел целый и невредимый, хотя и печеный. Или «Дневник покойного врача», где все дело было в громких

фразах и плохом греческом языке — и то, и другое привлекает читателей. Или, наконец, «Человек в колоколе» — вот это произведение, мисс Зенобия, я особенно рекомендую вашему вниманию. Там рассказано о молодом человеке, который засыпает под языком церковного колокола и просыпается от погребального звона. Эти звуки сводят его с ума, и он, вынув записную книжку, записывает свои ощущения. Ощущения — вот, собственно, главное. Если вам случится утонуть или быть повешенной, непременно опишите ваши ощущения — вы заработаете на них по десять гиней за страницу. Если хотите писать сильные вещи, мисс Зенобия, уделяйте особое внимание ощущениям.

— Непременно, мистер Блэквуд, — сказала я.

— Отлично! — заметил он. — Такая ученица мне по душе. Надо, однако, ввести вас в курс некоторых подробностей сочинения настоящего блэквудовского рассказа с ощущениями — то есть такого, который я считаю во всех отношениях лучшим.

Первое, что требуется, это — попасть в такую передрягу, в какой не бывал еще никто и никогда. Вот, скажем, печь — это было отлично задумано. Но если у вас нет под рукой печи или большого

колокола и вы не можете упасть с воздушного шара или погибнуть при землетрясении, или застрять в каминной трубе, вам придется удовольствоваться воображаемым переживанием чего-либо в этом роде. Однако я предпочел бы, чтобы ваше повествование подкреплялось фактами. Ничто так не помогает фантазии, как приобретенное опытом знание. «Правда — как вы знаете — всякой выдумки странней», и к тому же от нее больше толку.

Тут я заверила его, что у меня имеется пара отличных подвязок, на которых я намерена немедленно удавиться.

— Неплохо! — сказал он. — Действуйте, хотя это — прием уже несколько избитый. Можно, пожалуй, сделать лучше. Примите дозу пилюль Брандрета, а затем опишите ваши ощущения. Впрочем, мои инструкции одинаково применимы к любой катастрофе, а ведь легко может случиться, что по дороге домой вам проломят голову или вы попадете под омнибус, или вас укусит бешеная собака, или вы утонете в сточной канаве. Однако продолжим.

Выбрав тему, вы должны будете затем подумать о тоне или манере изложения. Существует тон дидактический, тон восторженный, тон есте-

ственный — все они уже достаточно банальны. Есть также тон лаконический или отрывистый, который сейчас в большом ходу. Он состоит из коротких предложений. Вот так. Короче. Еще короче. То и дело точка. Никаких абзацев.

Есть еще тон возвышенный, многословный, восклицательный. Его придерживаются некоторые из лучших наших романистов. Все слова должны кружиться, как волчки, и жужжать точно так же — это отлично заменяет смысл. Такой слог — лучший из всех возможных, если автору недосуг подумать.

Хорош также тон философский. Если вы знаете какие-нибудь слова подлиннее, тут им как раз найдется место. Пишите об ионийской и элейской школах — об Архите, Горгии и Алкмеоне. Упомяните о субъективности и объективности. Не забудьте обругать человека по фамилии Локк. Высказывайте как можно больше пренебрежения ко всему на свете, а если случится написать что-нибудь уж слишком несуразное, не трудитесь вымарывать; просто сделайте сноску и скажите, что приведенной глубокой мыслью обязаны «Kritik der reinen Vemunft»[71] или «Metaphysische

---

[71] Примечания: 71
«Критике чистого разума» (нем.).

Anfangsgrunde der Naturwissenschaft»[72]. Будет выглядеть и научно, и — ну, и честно.

Существуют и другие, не менее известные, манеры, но я назову еще только две: трансцендентальную и смешанную. Достоинство первой заключается в том, что она проникает в суть вещей гораздо глубже всякой иной. Подобное ясновидение, при некотором умении, бывает весьма эффектно. Многое можно почерпнуть из журнала «Дайел», даже при беглом чтении. В этом случае следует избегать длинных слов; выбирайте короткие и пишите их вверх ногами. Загляните в том стихотворений Чаннинга и процитируйте оттуда о «толстом человечке, будто бы что-то умеющем». Упомяните о Верховной Единосущности. Но ни слова о Греховной Двоесущности. А главное, это — постичь искусство намека. Намекайте на все — и не утверждайте ничего. Если вам хочется сказать «хлеб с маслом», ни в коем случае не говорите этого прямо. Можете говорить обо всем, что так или иначе *приближается* к «хлебу с маслом». Можете намекнуть на гречишную лепешку, даже больше того — на овсяную кашу, но если вы в действительности

---

[72] Примечания: 72
«Метафизическим начальным основаниям естествознания» (нем.).

имеете в виду хлеб с маслом, остерегайтесь, дорогая мисс Психея, сказать «хлеб с маслом».

Я заверила его, что больше не сделаю этого ни разу, пока жива. Он поцеловал меня и продолжал:

— Что касается манеры смешанной, то это просто разумное соединение, в равных долях, всех других манер на свете, а потому она одновременно и глубока, и возвышенна, и причудлива, и пикантна, и уместна, и прелестна.

— Предположим, что вы выбрали и тему, и манеру. Остается самое важное, я бы сказал, суть — я имею в виду *исполнение*. Не может джентльмен — да, впрочем, и дама — вести жизнь книжного червя. А между тем совершенно необходимо, чтобы в вашем рассказе была видна эрудиция или, по крайней мере, большая общая начитанность. Сейчас я покажу вам, чем это достигается. Смотрите! — Тут он достал с полки три-четыре тома самого обыкновенного вида и принялся раскрывать их наугад. — Пробежав почти любую страницу любой книги, вы легко заметите множество клочков учености или bel-esprit[73], как раз того, чем следует приправлять рассказ

---

[73] Примечания: 73
Остроумия (франц.).

для «Блэквуда». Советую записать некоторые из них — сейчас я их вам прочту. Я разделю их на две рубрики: во-первых, *Пикантные Факты для сравнений*; а во-вторых, *Пикантные Фразы для употребления при случае.* Записывайте. — И я стала записывать под его диктовку.

ПИКАНТНЫЕ ФАКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЙ. «Вначале было всего три музы: Мелета, Мнема, Аэда — музы размышления, памяти и пения». Из этого небольшого факта при умелом пользовании можно извлечь очень много. Видите ли, он мало известен и выглядит recherche[74]. Надо только преподнести его небрежно и как бы случайно.

Или еще: «Река Алфей протекала под морским дном и выходила наружу, сохраняя свои воды чистыми». Это, пожалуй, немного старо, но если должным образом приправить и подать, может показаться вполне свежим.

А вот кое-что получше: «Некоторым кажется, что персидский ирис обладает сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха». Очень тонко! Стоит немного повернуть, и получится просто прелесть. Мы возьмем кое-что еще из ботаники. Ничто так

---

[74] Примечания: 74
Изысканно (франц.).

хорошо не принимается публикой, особенно с помощью нескольких латинских слов. Пишите! «„Epidendrum Flos Aeris“ с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, даже будучи вырван с корнями. Туземцы подвешивают его на веревке к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет». Великолепно! Но хватит сравнений. Перейдем к Пикантным Фразам.

ПИКАНТНЫЕ ФРАЗЫ. «Классический китайский роман Ю-Киао-*Ли*». Отлично! Умело вставив эти несколько слов, вы покажете основательное знакомство с языком и литературой Китая. Если воспользоваться ими, можно, пожалуй, обойтись без арабского, санскрита или чикасо. А вот испанский, итальянский, немецкий, латынь и греческий совершенно обязательны. Я подберу вам образцы каждого из них. Любой отрывок годится, потому что использование его в рассказе — это уж дело вашей изобретательности. А теперь пишите!

«Aussi tendre que Zaïre» — нежная, как Заира, — вот вам французская фраза. Имеется в виду частое повторение фразы «la tendre Zaïre» во французской трагедии того же названия. Приведя ее кстати, вы покажете не только ваши познания во французском языке, но и общую вашу

начитанность и остроумие. Можно, например, сказать, что курица, которую вы ели (допустим, вы пишете о том, как подавились куриной костью), что эта курица далеко не была «aussi tendre que Zaïre». Пишите далее!

Ven muerte tan escondida,
Oue no te sienta venir,
Porque el plazer del morir
No me torne a dar la vida.

Это по-испански — из Мигеля де Сервантеса: «Приди скорее, о смерть, но только не показывайся мне, чтобы радость, какую доставит мне твой вид, не возвратила меня к жизни». Это можно вставить весьма кстати, когда вы, подавившись куриной костью, корчитесь в предсмертной агонии. Пишите!

Il pover' huomo che non sen'era accorto,
Andava combattendo, ed era morto.

А это, как видите, по-итальянски — из Ариосто. Речь идет о славном герое, который в пылу битвы не замечает, что убит, и продолжает доблестно сражаться, хотя и мертв. Очевидно, что и это применимо к вашему случаю — ибо я уверен, мисс Психея, что вы будете дрыгать ножками

еще часа полтора после того, как подавитесь до смерти этой самой куриной костью. Извольте записывать!

Und sterb' ich doch, so sterb' ich denn
Dutch sir – durch sie!

А вот это по-немецки — из Шиллера: «Пусть это смерть — я смерть вкусил У ног, у ног, у милых ног твоих». Здесь вы, понятно, обращаетесь к причине вашей гибели — к курице. В самом деле, какой разумный джентльмен (да и дама тоже) откажется умереть ради откормленного каплуна моллукской породы, начиненного каперсами и грибами и сервированного на блюде с гарниром из апельсинового желе en mosaïques[75]. Записывайте! (Так их подают у Тортони). Записывайте, прошу вас!

Вот отличная маленькая латинская фраза, и притом редкая (латинские фразы надо выбирать возможно короче и изысканнее — уж очень они становятся обиходны) — ignoratio elenchi[76].

---

[75] Примечания: 75
В виде мозаики (франц.).

[76] Примечания: 76
Подмена тезиса (лат. ignoratio elenchi) — логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом.

Кто-то совершил ignoratio elenchi — то есть понял ваши слова, но не мысль. Он попросту дурак. Какой-нибудь бедняга, с которым вы заговорили, когда подавились куриной костью, и который поэтому не вполне понял, о чем вы говорите. Бросьте в него этим ignoratio elenchi, и вы его сразу уничтожите. Если он осмелится возражать, можете ответить ему словами Лукана (вот они), что речи — всего лишь anemonae verborum — слова-анемоны. Анемона красива, но лишена запаха. А если он начнет шуметь, обрушьтесь на него с insomnia Jovis — грезами Юпитера — так Силий Италик (вот он!) называет напыщенные и высокопарные рассуждения. Это наверняка поразит его в самое сердце. Ему останется только опрокинуться на спину и умереть. Итак, записывайте, прошу вас.

По-гречески надо что-нибудь красивое — вот, например, из Демосфена.

Ανηρ ο φευγων χαι παλιν μαχησεται.
[Aner o pheugon kai palin machesetai].

В «Гудибрасе» есть недурной перевод -

В бой может вновь пойти беглец
Не тот, кого настиг конец.

В рассказе для «Блэквуда» ничем так не блеснешь, как греческим языком. Одни буквы, и те уж смотрят умно. Обратите внимание, мэм, какой проницательный вид у этого Ипсилона! А Фи, право, мог бы быть епископом! А до чего хорош Омикрон! А поглядите на Тау! Одним словом, для настоящего рассказа с ощущениями нет ничего лучше греческого языка. В нашем случае применить его чрезвычайно просто. Выпалите цитату тоном ультиматума, с добавлением громового проклятия, прямо в лицо тупоголовому ничтожеству, не сумевшему понять ваших простых английских слов о куриной кости. Будьте уверены, он поймет намек и удалится.

Вот и все указания, какие мистер Блэквуд дал мне на этот предмет, но я почувствовала, что их вполне достаточно. Теперь я могла наконец написать настоящий блэквудовский рассказ, и я решила приступить к делу немедленно. Прощаясь со мной, мистер Блэквуд предложил приобрести мой рассказ, когда он будет написан; но так как он мог предложить всего пятьдесят гиней за страницу, я решила лучше отдать его нашему обществу, чем расстаться с ним за столь ничтожную сумму. Несмотря на такую скупость, этот джентльмен во всем прочем отнесся ко мне

с большим уважением и был чрезвычайно учтив. Его прощальные слова глубоко запали мне в сердце; и я надеюсь, что всегда буду с признательностью их помнить.

— Дорогая мисс Зенобия, — сказал он со слезами на глазах, — не могу ли я *чем-либо еще* содействовать успеху вашего достохвального предприятия? Дайте подумать. Возможно, что вам не удастся в ближайшее время утонуть — или подавиться куриной костью — или быть повешенной — или укушенной — но постойте! Я вспомнил, что во дворе есть пара отличных бульдогов, превосходных, поверьте мне — свирепых и все такое прочее — самое для вас подходящее — они вас разорвут, вместе с auriculas, менее чем за пять минут (по часам!) — и подумайте только, что это будут за ощущения! Эй! Том! Питер! Дик, где ты там, негодяй? Выпусти их! — Но так как я страшно спешила и не имела ни минуты, пришлось, к сожалению, поторопиться, и я *тотчас* распрощалась — признаюсь, несколько поспешнее, чем предписано правилами вежливости.

Расставшись с мистером Блэквудом, я прежде всего хотела, согласно его советам, попасть в какую-нибудь беду и с этой именно целью провела большую часть дня на улицах Эдинбурга в

поисках рискованных приключений, которые соответствовали бы силе моих чувств и размерам задуманного мною рассказа. Меня сопровождал при этом слуга-неф Помпеи и собачка Диана, которых я привезла с собой из Филадельфии. Но только под вечер я сумела осуществить свою нелегкую задачу. Именно тогда произошло важное событие, послужившее темой нижеследующего рассказа в духе журнала «Блэквуд», написанного в смешанной манере.

Трагическое положение. Коса времени[77]

Что так безмерно огорчило вас,
Прекраснейшая дама?

«Комус»

Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине. На улицах царил неописуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали. Женщины кричали. Дети вопили. Свиньи визжали. А повозки — те громыхали. Быки — те ревели. Коровы — те мычали. Лошади — те ржали. Кошки — те мяукали. Собаки — те танцевали. *Танцевали!* Возможно ли? *Танцевали!* «Увы, — подумала я, — для меня пора танцев миновала!» Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрестанное, постоянное и, можно сказать, длительное — да, *длительное и длящееся* — горькое, мучительное, тревожащее — и да позволено мне будет сказать — *очень*

---

[77] Примечания: 77

© Перевод. З. Александрова.

тревожащее воздействие ясного, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, поистине завидной — нет! самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и, так сказать, самой *миленькой* (если мне простят столь смелое слово) *вещи* в целом мире (прости, любезный читатель!). Однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в *такой* душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк! Собаки танцевали! А я — я не могла! Они резвились — я плакала. Они прыгали — я горько рыдала. Волнующая картина! Образованному читателю она несомненно напомнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа, великолепного *Пью-Чай-ли*.

В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника. Диана, милый мой пудель! Прелестное создание! На ее единственный глаз свешивался клок шерсти, на шее был изящно повязан голубой бант. Диана была не более пяти дюймов росту, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал ее общей любимицей и придавал этому незаурядному

животному вид оскорбленной невинности.

А Помпей, мой негр! Милый Помпей! Как мне забыть тебя? Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута (я люблю точность), возраст — семьдесят, а быть может, и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким. Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые белки сверкали белизной. Природа не наделила его шеей, а щиколотки (что обычно для представителей его расы) поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору Денеггрошу. Это было отличное пальто. Хорошо скроенное. Хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь.

Нас было трое, и двоих я уже описала. Был еще и третий — этим третьим была я сама. Я — синьора Психея Зенобия. А вовсе не Сьюки Снобс. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантилья.

Платье было отделано зелеными аграфами и семью изящными оборками из оранжевых аурикул. Итак, я была третьей. Был пудель. Был Помпей. И была я. Нас было *трое*. Говорят, что и фурий было первоначально всего три: Мельти, Нимми и Хетти — Размышление, Память и Пиликанье.

Опираясь на руку галантного Помпея и сопровождаемая па почтительном расстоянии Дианой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам предстала церковь — готический собор — огромный, старинный, с высоким шпилем, уходившим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась. Я вступила под мрачные своды. Где был мой ангел-хранитель, если такие ангелы существуют? *Если!* Короткое, но зловещее слово! Целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключен в твоих четырех буквах! Я вступила под мрачные своды! Я вошла; ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят,

огромная река Альфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая.

Я думала, что лестнице не будет конца. *Кругом!* Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх, пока мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, не пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а быть может, и намеренно снят. Я остановилась, чтобы передохнуть; и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, чтобы можно было обойти это молчанием. Мне показалось — я даже была уверена и не могла ошибиться, ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движения моей Дианы — повторяю, ошибиться я *не могла* — Диана *почуяла крысу!* Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он, он согласился со мной. Сомнений быть не могло. Крысу почуяли — и почуяла ее Диана. Силы небесные! Как мне забыть глубокое волнение этой минуты? Увы! Что такое хвалебный ум человека? Крыса! Она была тут, то есть где-то поблизости. Диана почуяла крысу. А я — я не могла! Так, говорят, прусский ирис обладает для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как

для других он совершенно лишен запаха.

Наконец лестница кончилась; всего три-четыре ступеньки отделяли нас от ее верхней площадки. Мы поднялись еще, и нам оставался только один шаг. Один шаг! Один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготевшей над нами. Я подумала о Помпее, увы, я подумала о любви! Я подумала о многих ложных *шагах*, которые сделаны и еще могут быть сделаны. Я решила быть более сдержанной, более осторожной. Я отняла у Помпея свою руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню. Мой пудель тотчас последовал за мной. Помпей остался позади. Стоя на верху лестницы, я ободряла его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто, которое придерживал. Ужели боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал — такое следствие было неизбежно. Он упал вперед и своей проклятой головой ударился в мою, в мою грудь; увлекая меня за собою, он свалился на твердый, омерзительно грязный пол

колокольни. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жесткой, курчавой черной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами — и вздохнул. О боги, что это был за вздох! Он проник в мое сердце. А эти волосы, эта шерсть! Если бы я могла до нее дотянуться, я омочила бы ее слезами раскаяния. Но увы! Она была теперь недосягаема. Качаясь среди колокольных веревок, она казалась мне все еще живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так, говорят, *Хэппиденди Флос Аэрис* с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, если его выдернуть с корнями. Туземцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и оглянулись вокруг себя, ища отверстия, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проем диаметром около фута, находившийся футах в семи от пола. Но чего не совершит энер-

гия истинного гения! Я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колес, шестерен и других таинственных частей часового механизма, а сквозь отверстие шел от этого механизма железный стержень. Между колесами и стеной едва можно было протиснуться — но я была исполнена отчаянной решимости и упорствовала в своем намерении. Я подозвала Помпея.

— Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под ним, вот здесь. Теперь вытяни руку, и я на нее встану, вот так. А теперь другую руку, Помпей, и я влезу тебе на плечи.

Он сделал все, чего я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид открывался дивный. Ничто не могло быть великолепнее. Я только велела Диане вести себя смирно, а Помпея заверила, что буду его щадить и постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна — *«осси тандр ке бифштекс»*[78]. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась

---

[78] Примечания: 78
Нежна, как бифштекс (испорч. франц.).

созерцанию пейзажа, столь услужливо представившегося моему взору.

Впрочем, на эту тему я не буду распространяться. Я не стану описывать город Эдинбург. Все побывали в Эдинбурге — древней Эдине. Я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений. Удовлетворив отчасти свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру ее колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу должно было казаться дырочкой для ключа, какие бывают у французских карманных часов. Оно несомненно предназначалось для того, чтобы часовой мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидела также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее десяти футов, а в самом широком месте — около девяти дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твердой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилавшуюся

внизу, и погрузилась в ее созерцание.

Спустя несколько минут меня отвлек от этого голос Помпея, который заявил, что дольше не может выдержать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершил *«игнорамус»* и *«клянчит»*; что все его понятия — *«инсоммари явис»*, и слова не лучше — какие-то *«аниманинаборы»*. Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию.

Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, расстилавшимся подо мною, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне сзади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему строгому приказу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы! Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я к своему величайшему ужасу увидела, что огромная, блестящая минут-

ная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла, что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад — но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже и все ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но он сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянчит. Я громко позвала Диану, но та ответила только «вау, вау» и еще, что я «не велела ей ни в коем случае выходить из угла». Итак, от моих спутников нечего было ждать помощи.

Между тем массивная и страшная *Коса Времени* (ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы) продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться. Я видела себя то в Филадельфии, в обществе статного доктора Денеггроша, то в приемной мистера Блэквуда, где

слушала его драгоценные наставления. А потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних, лучших днях, и я перенеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестокосерд.

Тиканье механизма забавляло меня. Повторяю, забавляло, ибо теперь мое состояние граничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее *тик-так, тик-так, тик-так* звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода. А крупные цифры на циферблате — какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось исполнение ее цифрой V. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях — ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце. Я попыталась было предложить ей стул, ибо она казалась утомленной танцем — и только тут вполне поняла свое безвыходное положение. Поистине безвыходное! Стрелка врезалась мне в шею уже на два дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные стихи поэта

Мигеля де Сервантеса:

Ванни Бюрен, тан эскондида,
Квори но ти сенти венти
Полк на пляже делли мори
Номми, торни, дари види.

Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда еще ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие сродства, которое всегда существует между двумя глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло.

Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мерзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же, куда его собрат (возможно, тут был сговор). Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться.

Стрелка врезалась мне в шею уже на четыре с половиной дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придет конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своем страшном пути настолько, что перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от моего туловища. Она скатилась по стене колокольни, на миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы.

Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный, нет, более того, таинственный и непонятный характер. Мое сознание находилось одновременно

и тут, и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но достав ее и попытавшись обычным образом применить щепотку ее приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз, своей голове. Она с большим удовольствием понюхала табаку и улыбнулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто:

Иль повер омо ке нон серри корти
И лихо бился тенти эрри мертви,

сравнивая меня таким образом с героем, который в пылу битвы не заметил, что он мертв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого *особенно* странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю.

Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, сбросив свое пальто, он мотнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодяю страстные слова Демосфена:

Эндрью О'Флегетон, как можешь бросать меня?

и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. Увы! Что за страшное зрелище предстало моим глазам! Неужели это *крыса* юркнула только что в нору? А это — неужели это обглоданные *кости* моего ангелочка, съеденного злобным чудовищем? О боги! *Что* я вижу — не тень ли это, не призрак ли, не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, и о небо! на языке Шиллера:

Унт штабби дак, зо штабби дун
Дук зи! Дук зи!

Увы! Сколько правды в ее словах!

Пусть это смерть – я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих.

Нежное создание! Она тоже пожертвовала со-

бою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что еще остается несчастной синьоре Психее Зенобии? Увы, *ничего*! Все кончено.

Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании[79]

Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau!
La moitie de ma vie a mis l'autre au tombeau.
Corneille[80]

Не могу припомнить, когда и где я впервые познакомился с этим красавцем-мужчиной — бревет-бригадным генералом Джоном А. Б. В. Смитом. Кто-то меня ему *представил*, в этом я совершенно уверен, в каком-то собрании — это я знаю точно — посвященном, конечно, чему-то необычайно важному, в каком-то доме — я ни минуты в том не усомнюсь, — только где именно, я почему-то никак не могу припомнить. Сказать по чести, при этом я испытывал некое смуще-

[79] Примечания: 79
© Перевод. Н. Демурова.

[80] Примечания: 80
Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин!
Увы! Моей души одна из половин другою сражена.
Корнель (*франц.*).

ние и тревогу, помешавшие мне составить хоть сколько-нибудь определенное впечатление о месте и времени нашего знакомства. По природе я очень нервен — у нас это в роду, и тут уже я ничего не могу поделать. Малейший намек на таинственность, любой пустяк, не совсем мне понятный, мгновенно приводит меня в самое жалкое состояние.

Во всем облике упомянутого господина было что-то… как бы это сказать… замечательное, — да, замечательное, хотя слово это слишком невыразительно и не может передать всего, что я подразумеваю. Роста в нем было, должно быть, футов шесть, а вид чрезвычайно властный. Была во всей его манере некая air distingue[81], выдающая высокое воспитание, а возможно, и происхождение. В этом вопросе — вопросе о внешности Смита — я хотел бы позволить себе горькое удовольствие быть точным. Его шевелюра сделала бы честь самому Бруту — по блеску и пышности ей не было равных. Цвет воронова крыла — и тот же цвет, или, вернее, отсутствие цвета в его божественных усах. Вы замечаете, конечно, что о последних я не могу говорить без восторга; я

[81] Примечания: 81
Изысканность (франц.).

не побоюсь сказать, что под солнцем не было других таких усов. Они обрамляли, а кое-где и прикрывали несравненные уста. Зубы бесподобной формы блистали невероятной белизной, и в подобающих случаях из его горла лился голос сверхъестественной чистоты, мелодичности и силы. Что до глаз, то и тут мой новый знакомец был наделен совершенно исключительно. За каждый из них можно было, не дрогнув, отдать пару обычных окуляров. Огромные, карие, они поражали глубиной и сиянием и слегка косили — чуть-чуть, совсем немного, как раз столько, сколько требуется, чтобы придать взору интересную загадочность.

Такой груди, как у генерала, я в своей жизни, безусловно не встречал. При всем желании в ней нельзя было найти ни единого дефекта. Она на редкость шла к плечам, которые вызвали бы краску стыда и неполноценности на лице мраморного Аполлона. У меня к хорошим плечам страсть — смею сказать, что никогда ранее не видел такого совершенства. Руки у него имели форму безукоризненную. Не менее выразительны были и нижние конечности. Это были прямо-та-

ки не ноги, а nec plus ultra[82] прекрасных ног. Любой знаток нашел бы их безупречными. Они были не слишком толсты и не слишком тонки, без грубости, но и без излишней хрупкости. Более изящного изгиба, чем в его os femoris[83], я и представить не могу, а fibula[84] его слегка выгибалась сзади как раз настолько, сколько необходимо для истинно пропорциональной икры. Мне очень жаль, что мой юный и талантливый друг, скульптор Дребеззино не видел ног бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита.

Но хоть мужчин с такой великолепной внешностью на свете совсем не так много, как звезд в небе или грибов в лесу, все же я не мог заставить себя поверить, что то *поразительное* нечто, о котором я говорил, — тот странный аромат je ne sais quo![85], который витал вокруг моего нового знакомца, — крылся, — нет, этого не может быть! — исключительно в телесном

---

[82] Примечания: 82
Здесь: идеал (лат.).

[83] Примечания: 83
Бедренной кости (лат.).

[84] Примечания: 84
Малая берцовая кость (лат.).

[85] Примечания: 85
Чего-то неопределенного (франц.).

его совершенстве. Возможно, дело тут было в его *манере*, — впрочем, и тут я ничего не могу утверждать наверное. В осанке его была некая принужденность, хоть я и побоюсь назвать ее чопорностью; в каждом движении некая прямоугольная рассчитанность и точность, которая в фигуре более мелкой слегка отдавала бы высокомерием, позой или напыщенностью, но в господине масштабов столь внушительных вполне объяснялась сдержанностью или даже hauteur[86] весьма приятного свойства, короче, чувством достоинства, вполне естественным при таких колоссальных пропорциях.

Любезный приятель, представивший меня генералу Смиту, шепнул мне кое-что о нем на ухо.

– *Замечательный* человек — человек *весьма* замечательный — о-о! один из *самых* замечательных людей нашего века! Любимец дам — немудрено — репутация героя.

– *Тут* у него нет соперников — отчаянная голова, настоящий лев, можете мне поверить, — шептал мой приятель, еще пуще понижая при этих словах голос и приводя меня в крайнее волнение своим таинственным тоном. — Настоящий

---

[86] Примечания: 86
Гордостью (франц.).

лев, можете мне поверить. Да, он себя показал в последнем сражении с индейцами племени бугабу и кикапу — в болотах на крайнем юге. — Тут мой приятель широко открыл глаза. — Господи боже — гром и молния! — кровь *потоками* — чудеса храбрости! — конечно, слышали о нем? Знаете, он тот самый человек…

— Вот он, тот самый человек, который мне нужен. Как поживаете, мой друг? Что поделываете? *Душевно рад* вас видеть, — перебил тут моего приятеля подошедший генерал, тряся ему руку и отвешивая мне, когда я был ему представлен, деревянный, но низкий поклон. Помню, я подумал (и мнение свое я не изменил), что никогда в жизни не слышал голоса звучнее и чище, не видел зубов такой белизны; впрочем, *должен* признаться, что пожалел о том, что нас прервали, ибо мой приятель своим шепотом и недомолвками возбудил во мне живейший интерес к герою бугабуско-кикапуской кампании.

Впрочем, блестящее остроумие бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита вскоре полностью рассеяло эту досаду. Приятель нас тут же оставил, и мы имели долгий tête-à-tête не только приятный, но и *весьма* поучительньй. Мне не доводилось встречать человека, который

так легко и в то же время с таким глубоким знанием говорил бы на самые разные темы. И все же он с достойной скромностью избегал касаться предмета, более всего меня волновавшего, — я говорю о таинственных обстоятельствах бугабуской войны; я же, со своей стороны, из вполне понятной деликатности не решался завести о них разговор первым, хотя, признаться, мне чрезвычайно этого хотелось. Я заметил также, что доблестный воин предпочитал философские темы и что с особым вдохновением говорил он о необычайных успехах механики. О чем бы я ни заводил речь, он неизменно возвращался.

— Нет, но вы только подумайте, — говорил он, — мы удивительный народ и живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, капканы на людей и скорострельные ружья! На всех морях наши суда, и с минуты на минуту отроется регулярное сообщение — на воздушных шарах Нассау — между Лондоном и Тимбукту — билет в один конец всего двадцать фунтов стерлингов! А кто измерит огромное влияние на жизнь общества: на искусство — торговлю — литературу — исследования великих принципов электромагнетизма! И это далеко не все, позвольте мне вас заверить. Изобретениям поистине нет

конца. Самое удивительное — самое хитроумное — и позвольте вам заметить, мистер... мистер... Томпсон, если не ошибаюсь? Так вот, позвольте вам заметить, что самые полезные — действительно *полезные* механические приспособления — что ни день появляются, как грибы после дождя, если можно так выразиться, или, если употребить еще более свободное сравнение, плодятся... гм... как кролики... как кролики, мистер Томпсон... вокруг нас... и гм... гм... гм... возле нас!

Разумеется, меня зовут совсем не Томпсон, но стоит ли говорить, что я попрощался с генералом Смитом, чувствуя, что мой интерес к нему возрос неизмеримо, преклоняясь перед его даром собеседника и гордясь тем, что мы живем в век удивительных открытий. Впрочем, любопытство мое не было удовлетворено, и я решил, не откладывая, расспросить своих знакомых о самом бревет-бригадном генерале и особенно о великих событиях quorum pars magna fuit[87] во время бугабуской и кикапуской кампании.

Случай мне вскоре представился — и я не замедлил (horresco referens[88]) им воспользоваться

---

[87] Примечания: 87
В коих сыграл он немалую роль (лат.).

[88] Примечания: 88
Страшно сказать (лат.).

— в церкви достопочтенного доктора Трамтарарамма, где однажды в воскресенье во время проповеди я очутился на скамье бок о бок с моей достойнейшей и обаятельнейшей приятельницей мисс Табитой Т. Увидев это, я поздравил себя — не без весьма серьезных оснований — с чрезвычайно удачным положением дел. Если кто-нибудь и знал что-нибудь о бревет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите, то — тут я ни на минуту не сомневался — то была мисс Табита Т. Мы переглянулись, а затем приступили sotto voce[89] к быстрому tête-à-tête.

— Смит! — отвечала она в ответ на мою взволнованную просьбу. — Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Господи, я думала, вы о нем все *знаете*! Век открытий! Удивительный век! Ужасная история — кровожадная банда негодяев, эти кикапу — дрался, как герой, — чудеса храбрости — бессмертная слава! Смит! Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В.! Да, знаете, это тот самый человек…

— Человек, — загремел тут во весь голос доктор Трамтарарамм и так грохнул по кафедре, что у нас зазвенело в ушах, — человек, рожденный женою,

---

[89] Примечания: 89
Понизив голос (ит.).

краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит и опадает… — Дрожа, я отпрянул от мисс Табиты, поняв по раскрасневшемуся лицу богослова, что гнев, едва не оказавшийся для кафедры роковым, был вызван нашим перешептыванием. Делать нечего — я покорился судьбе и со смирением мученика выслушал в благоговейном молчании эту прекрасную проповедь.

Следующий вечер застал меня в театре «Чепуха», куда я явился, правда, с некоторым опозданием, в уверенности, что стоит мне только зайти в ложу очаровательных Арабеллы и Миранды Познаванти, всегда поражавших меня своей добротой и всеведением, как любопытство мое будет удовлетворено. Зал был переполнен — в тот вечер Кульминант, этот превосходный трагик, играл Яго, и мне было нелегко объяснить, чего я хочу, ибо ложа наша была крайней и прямо-таки нависала над сценой.

— Смит! — сказала мисс Арабелла. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.?

— Смит! — протянула задумчиво Миранда. — Боже! Видали вы когда-нибудь такую несравненную фигуру?

— Никогда, сударыня, но скажите, прошу вас…

— Такую несравненную грацию?

— Никогда, даю вам слово! Но умоляю, скажите мне…

— Такое прекрасное чувство сцены?

— Сударыня!

— Такое тонкое понимание подлинных красот Шекспира? Вы только взгляните на эту ногу!

— Черт! — И я повернулся к ее сестре.

— Смит! — сказала она. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? Страшные негодяи, эти бугабу! Дикари — и все такое — но мы живем в век изобретений! Удивительный век! — Смит! — Да! Великий человек — отчаянная голова! — вечная слава! — чудеса храбрости! — Никогда о нем не слышали! (Вопль) Господи, да это тот человек…

— Вы человек иль нет! Где ваше сердце? — заорал тут Кульминант мне прямо в ухо, грозясь кулаком с такой наглостью, которой я не намерен был сносить. Я немедленно покинул мисс Познаванти, отправился за кулисы и задал этому жалкому негодяю такую трепку, какая, надеюсь, запомнилась ему на всю жизнь.

Я был уверен, что на soir*é*e[90] у прелестной вдовушки миссис Кетлин О'Вист меня не ждет

---

[90] Примечания: 90
Вечере (франц.).

подобное разочарование. Не успел я усесться за карточный стол vis-*à*-vis с моей хорошенькой хозяйкой, как тут же завел речь о тайне, разрешение которой стало столь важным для спокойствия моей души.

— Смит! — сказала моя партнерша. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? Невероятные негодяи эти кикапу! Это вист, мистер Глупп, — не забывайте, пожалуйста! Впрочем, в наш век изобретений, в этот, можно сказать, великий век — век par excellence[91] — вы говорите по-французски? — просто герой — отчаянная голова! — нет червей, мистер Глупп? Я этому не верю! — вечная слава и все такое — чудеса храбрости! Никогда не слышали?! Какая фигура! А какие ман…

— Манн! Капитан Манн! — завопила тут какая-то дамочка из дальнего угла. — Вы говорите о капитане Манне и его дуэли? О, пожалуйста, расскажите, я должна это услышать. Прошу вас, миссис О'Вист, продолжайте, — о, пожалуйста, расскажите нам все!

И миссис О'Вист рассказала — бесконечную историю о каком-то Манне, которого не то застре-

---

[91] Примечания: 91
В истинном значении этого слова (франц.).

лили, не то повесили, — а лучше б и застрелили, и повесили сразу! Да! Миссис О'Вист вошла в азарт, ну а я — я вышел из комнаты. В тот вечер не было уже никакой надежды узнать что-либо о бревет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите.

Я утешал себя мыслью, что не вечно же судьба будет ко мне так неблагосклонна, и потому решил смело потребовать информации на рауте у этого ангела, этой чаровницы, изящнейшей миссис Пируэтт.

— Смит! — сказала миссис Пируэтт, кружась со мной в pas-de-zéphyr.

— Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история с этими бугабу, не так ли? Ужасные создания эти индейцы! — тяните носок, тяните носок! Мне просто стыдно за вас! — человек необычайного мужества, бедняга! — но наш век — век удивительных изобретений! — о боже, я совсем задохнулась — отчаянная голова — чудеса храбрости! — никогда не слышали?! — Я не могу этому поверить! — Придется мне сесть и все вам рассказать. — Смит! Да это тот самый человек…

— Век, век, а я вам говорю, Бронзовый век, — вскричала тут мисс Синье-Чулокк, когда я подвел миссис Пируэтт к креслу. — Говорят вам, «Бронзо-

вый век», а вовсе не «Бронзовый внук». Тут мисс Синье-Чулокк властным тоном подозвала меня; пришлось мне волей-неволей оставить миссис Пируэтт, чтобы сказать решающее слово в споре о какой-то поэме лорда Байрона. Без долгих размышлений я тут же заявил, что она, конечно, называется «Бронзовый внук» и ни в коем случае не «Бронзовый век», но, вернувшись к креслу миссис Пируэтт, обнаружил, что она исчезла, и тут же удалился, проклиная мисс Синье-Чулокк и всю ее фамилию.

Дело принимало нешуточный оборот, и я решил, не тратя попусту времени, навестить моего ближайшего друга Теодора Клеветона, ибо я понимал, что у него-то я получу хоть какие-то сведения.

— Сми-ит! — сказал он, растягивая, по обыкновению, слога. — Сми-ит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Дикая история с этими ки-капу-у, не так ли? — нет, правда? — отчаянная голова-а, ужасно жаль, честное слово! — век удивительных изобретении! — чудеса-а хра-а-брости! — кстати, слыхали вы о капитане Манне?

— К черту капитана Манна! — отвечал я. — Продолжайте, прошу вас…

— Гм… ну, что ж… совершенно la même cho-

o-ose[92], как говорят у нас во Франции. Смит? Бригадный генерал Джон А. Б. В.? Ну, знаете ли. — Тут мистер Клеветой почему-то приставил палец к носу. — Не хотите же вы сказать, что никогда не слышали об этой истории. Нет, вы признайтесь честно, положа руку на сердце. Смит? Джон А. Б. В.? Господи! Да это же человек…

— Мистер Клеветой, — сказал я с мольбой, — неужто это человек в маске?

— Не-ет! — протянул он лукаво. — Но и с лу-уны он тоже не свалился!

Ответ этот я счел за рассчитанное и прямое оскорбление, а потому тут же в глубоком возмущении покинул этот дом, решив призвать своего друга, мистера Клеветона, к ответу за его невоспитанность и недостойное джентльмена поведение.

Тем временем, однако, я не имел мысли отказаться от получения столь важных для меня сведений. Мне оставалось лишь одно. Направиться прямо к источнику. Явиться к самому генералу и потребовать, языком простым и понятным, ответа на эту проклятую тайну. Тут уж не ускользнешь. Я буду краток, властен, деловит, прост, как

---

[92] Примечания: 92
То же самое (франц.).

Писание, и лаконичен, как Тацит и Монтескье.

Было еще утро, когда я нанес свой визит, и генерал совершал туалет, но я объяснил, что у меня к нему срочное дело, и старый негр-камердинер провел меня в спальню, где и оставался во все время моего визита. Войдя в спальню, я оглянулся, ища глазами хозяина, но не тотчас увидел его. На полу, возле моих ног, лежал большой узел какой-то странной рухляди, и так как я был в тот день очень не в духе, я пнул его ногой.

— Гха! Гха! Не очень-то это любезно, я бы сказал, — проговорил узел каким-то необычайно тихим и тонким голосом, похожим не то на писк, не то на свист. Такого в своей жизни я еще не слыхал.

— Гха! Не очень-то это любезно, я бы заметил…

Я чуть не вскрикнул от ужаса и отскочил в дальний конец комнаты.

— Господи боже, мой милый друг! — просвистел узел. — В чем… в чем… нет, в чем же дело? Вы, видно, меня совсем не узнаете.

Что я *мог* на это ответить? *Что?!* Я повалился в кресло и — открыв рот и выпучив глаза — стал ждать объяснения этого чуда.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? — проскрипело чудовище, производя

на полу какие-то странные манипуляции, — похоже, что оно натягивало чулок. Впрочем, нога почему-то была одна и, сколько я ни смотрел, второй ноги я так и не обнаружил.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? Помпей, дай сюда эту ногу! — Тут Помпей подал узлу прекрасную пробковую ногу, обутую и затянутую в лосину, которая и была мгновенно прикручена, после чего узел поднялся с пола прямо у меня на глазах.

— Ну и *кровавая* была бойня! — продолжал он свой монолог. — Впрочем, когда воюешь с бугабу и кикапу, было бы глупо предполагать, что отделаешься простой царапиной. Помпей, где же рука? Давай ее сюда, да поскорее! (Поворачиваясь ко мне:) — Томас набил себе руку на пробковых ногах, но если вам, мой дорогой друг, когда-нибудь понадобится рука, позвольте мне порекомендовать вам Бишопа. — Тут Помпей привинтил ему руку.

— Да, жаркое было дело! Надевай мне плечи и грудь, пес! Лучшие плечи делает Петитт, но за грудью лучше обратиться к Дюкрау.

— За грудью! — произнес я.

— Помпей, куда же ты запропастился с этим париком? Скальпирование — очень неприятная

процедура, но зато у Де Л'Орма можно приобрести такой прекрасный скальп.

— Скальп!

— Эй, черномазый, мои зубы! *Хорошие* челюсти лучше сейчас же заказать у Пармли — цены высокие, но работа отличная. Я, правда, проглотил великолепную челюсть, когда этот огромный бугабу проломил мне голову прикладом.

— Прикладом! Проломил! Пресветлый боже!

— А-а, кстати, где мой пресветлый глаз? Эй, Помпей, ввинти мне глаз, негодяй! Эти кикапу выдавливают глаза довольно быстро, но доктора Уильямса все же зря оклеветали, вы даже представить себе не можете, как хорошо я вижу его глазами.

Понемногу мне стало ясно, что этот предмет, который стоял передо мной, этот предмет был не что иное, как мой новый знакомец, бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит. Усилиями Помпея в его внешности произведены были разительные перемены. Один только голос все еще немало меня тревожил, но даже явная эта тайна вскоре получила объяснение.

— Помпей, черномазый мерзавец, — пропищал генерал. — Ты, видно, хочешь, чтоб я ушел без неба?

На что негр, бормоча извинения, приблизился к своему хозяину, с видом бывалого жокея открыл ему рот и очень ловко вставил ему какую-то ни на что не похожую штуку, назначение которой было мне совсем не понятно. Однако в лице генерала немедленно произошла разительная перемена. А когда он опять заговорил, в голосе его вновь зазвучала вся та глубокая мелодичность и звучность, которая поразила меня при нашем первом знакомстве.

— Черт бы побрал этих мерзавцев! — сказал он таким зычным голосом, что я положительно вздрогнул. — Черт бы их побрал! Они не только вбили мне в глотку все небо, но еще и позаботились о том, чтобы отрезать семь восьмых — никак не меньше! — моего языка. Впрочем, в Америке есть Бонфанти, — равного ему не сыщешь! — все эти предметы он делает бесподобно. Я могу с уверенностью рекомендовать его вам. — Тут генерал поклонился. — Поверьте, я это делаю с величайшим удовольствием.

Я, как полагается, ответил на его любезное предложение, и тут же с ним распрощался, составив себе полное представление о том, в чем тут дело, и получив разъяснение тайны, которая мучила меня так долго. Все было ясно. Случай

был прост. Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит был тот самый человек — тот самый человек, *которого изрубили в куски*.

Разговор Эйрос и Хармионы[93]

Πύρ σοι προσοίσω.
Я принесу тебе огонь.
Еврипид. «Андромаха»

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйрос?

Хармиона. Ты будешь зваться так отныне и вовеки. Забудь и мое земное имя и зови меня Хармионой.

Эйрос. Да, это не сон!

Хармиона. Снов более нет с нами; но речь об этих тайнах впереди. Мне отрадно видеть, что тобою сохранены подобие жизни и разум. Теневая пелена сошла с твоих глаз. Исполнись смелости и ничего не бойся. Назначенные тебе дни оцепенения миновали; и завтра я сама посвящу тебя во все радости и чудеса твоего нового существования.

Эйрос. И вправду, я совсем не чувствую оцепенения. Неистовый недуг и ужасная тьма оставили меня, и мне более не слышен бешеный, стремительный, ужасный звук, подобный «шуму от

---

[93] Примечания: 93
© Перевод. В. Рогов.

множества вод». И все же чувства мои в смятении, Хармиона, от остроты восприятия нового.

Хармиона. Через несколько дней все это пройдет; но я вполне тебя понимаю и сочувствую тебе. Прошло десять земных лет с той поры, как я испытала то, что испытываешь ты, но память об испытанном все же свежа. Все страдания, уготованные тебе в Эдеме, теперь позади.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О боже! Сжалься надо мной, Хармиона, меня подавляет величие всего: неведомое, ставшее ведомым, Грядущее, слитое с царственным и определенным Настоящим.

Хармиона. Не пытайся разрешить эти вопросы. Речь о них будет завтра. Волнение твоего неокрепшего ума утешится простыми воспоминаниями. Не смотри ни окрест, ни вперед — но только назад. Я сгораю от нетерпения услышать подробности о грандиозном событии, забросившем тебя к нам. Поведай мне о нем. Побеседуем о привычных предметах на старом привычном языке мира, погибшего столь ужасно.

Эйрос. О, ужасно, ужасно! Да, это не сон.

Хармиона. Снов более нет. Меня много оплакивали, Эйрос?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? О, горько. До самого последнего часа над твоим семейством нависала туча безысходного горя и благочестивой скорби.

Хармиона. И тот последний час — поведай о нем. Не забывай, что, помимо краткого известия о самой катастрофе, я ничего не знаю. Когда, покинув человечество, я прошла через Могилу в Ночь — в ту пору, если я верно помню, бедствия, постигшего вас, никак не ожидали. Но ведь я была мало сведуща в предсказаниях умозрительной философии тех дней.

Эйрос. Как ты сказала, бедствия, постигшего нас, совершенно не ждали; но подобные невзгоды на протяжении долгого времени составляли для астрономов предмет обсуждения. Едва ли стоит говорить тебе, друг мой, что, когда ты ушла от нас, люди истолковали те места из наших священных писаний, где повествуется об окончательной гибели всего сущего от огня, как относящиеся лишь к земному шару. Но касательно сил, посредством которых свершится наша гибель, все предположения были ошибочны, начиная с той эпохи развития астрономии, когда перестали считать, что кометы способны уничтожить нас огнем. Была точно установлена весьма невысокая

плотность этих небесных тел. Заметили, что они проходят среди спутников Юпитера без какого-либо значительного изменения массы или орбит этих второстепенных планет. Мы давно рассматривали этих небесных скитальцев как крайне разреженные газообразные скопления, никак не способные причинить вред нашему весомому шару даже в случае соприкосновения. Но соприкосновения мы ни в коей мере не опасались, ибо элементы комет были досконально известны. Что среди *них* должно искать носителя огненной гибели, много лет считалось недопустимой идеей. Но последнее время причудливые фантазии и вера в чудеса странным образом распространились по свету; и хотя подлинное предчувствие грядущей катастрофы укоренилось лишь среди немногих невежд, но после того, как астрономы объявили о новой комете, эта весть была принята всеми с какой-то тревогой и недоверием.

Немедленно определили элементы незнакомой кометы, и все наблюдатели сразу признали, что ее траектория в перигелии проходит очень близко от Земли. Двое или трое второстепенных астрономов настоятельно утверждали, что соприкосновение неизбежно. Не могу должным образом выразить тебе, какой эффект произвело

это сообщение. Несколько дней люди не в силах были поверить утверждению, которое их разум, погруженный в будничные заботы, никак не мог осмыслить. Но правда о чем-то жизненно важном быстро доходит до понимания даже самых тупоумных. Наконец, все увидели, что астрономия не лжет, и принялись ожидать комету. Ее приближение на первых порах не казалось особо стремительным; да и вид ничем не поражал. Она была тускло-красная, с еле видным хвостом. Семь или восемь дней мы не замечали значительного увеличения ее диаметра и видели лишь частичное изменение ее цвета. Тем временем повседневные дела оказались в забросе, и всеобщий интерес был направлен на все расширяющееся обсуждение природы кометы, начатое людьми с философским складом ума. Даже величайшие невежды напрягали свои дремлющие способности ради рассуждений о комете. Теперь ученые не тратили ни интеллекта, ни души на то, чтобы рассеять страхи или защитить любимую теорию. Выбиваясь из сил, они искали правильного взгляда. Они мучительно добивались совершенства знаний. *Истина* восстала в чистоте силы своей и в беспредельном величии, и мудрые благоговейно простерлись перед нею.

Мнение, будто земной шар или его обитатели подвергнутся урону от предполагаемого соприкосновения с кометой, с каждым часом теряло вес среди мудрых; и мудрым теперь предоставлялась свобода власти над разумом и фантазией толпы. Было доказано, что плотность ядра кометы значительно ниже плотности самого разреженного из наших газов; настойчиво подчеркивали факт прохождения подобного небесного гостя среди спутников Юпитера, не имевший никаких опасных последствий, что весьма споспешествовало уменьшению ужаса. Богословы с усердием, вызванным страхом, занимались библейскими пророчествами и толковали их народу с прямолинейностью и простотою, дотоле неведомой. Представление о том, что окончательная гибель Земли настанет от огня, внедрялось с упорством, убеждавшим всех; а что кометы состоят не из пламени (как поняли к тому времени все) — было истиной, в огромной мере ослабившей всеобщее предчувствие предсказанной беды. Заметно было, что принятые суеверия и заблуждения черни относительно эпидемий и войн — заблуждения, широко распространенные при появлении любой кометы — теперь были совершенно неведомы. Словно бы неким судорожным усилием

разум в единый миг низверг суеверие с престола. В повышенной любознательности черпал силу и слабейший ум.

В мельчайших подробностях изучался вопрос каких малых зол можно ожидать от соприкосновения с кометой. Ученые говорили о незначительных геологических сдвигах, о вероятных изменениях климата, а следственно, и растительности; о возможных магнитных и электрических влияниях. Многие держались того мнения, что никаких видимых или заметных перемен вообще не последует. Покамест продолжались подобные дискуссии, предмет их постепенно приближался, его диаметр возрастал, сияние делалось все ярче. По мере приближения кометы росла тревога человечества. Все дела людские приостановились.

Настало время, когда комета в конце концов достигла величины, превосходящей величину всех подобных явлений, ранее отмеченных. Теперь люди, отбросив всякую оставшуюся надежду на ошибку астрономов, уверились в неотвратимой беде. Ужас потерял свою призрачность. Сердца смелейших бешено стучали. Однако оказалось довольно совсем не многих дней, дабы растворить и подобные чувства в других, вовсе уж непереносимых. Мы не могли более подходить

к неведомой комете с какими-либо *привычными* мерками. Ее *исторические* признаки исчезли. Она тяготила нас ужасающею *новизною* внушаемых эмоций. Каждый из нас видел в ней не астрономический феномен, но инкуба на сердце, тень на разуме. С непостижимой стремительностью она превратилась в гигантский покров разреженного пламени, простертый от горизонта до горизонта.

Еще день, и люди вздохнули свободнее. Стало ясно, что мы уже находимся в сфере влияния кометы; и все-таки живем. Мы даже ощущали необычную телесную гибкость и живость ума. Была очевидна крайняя разреженность кометы, ужасавшей нас: все небесные тела были ясно видны сквозь нее. Тем временем растительность Земли заметно изменилась; и мы уверовали по этому ранее предсказанному обстоятельству в прозорливость мудрых. Буйная, роскошная листва, неведомая ранее, покрыла каждое растение.

Еще день — а зло все же не настигло нас до конца. Стало очевидным, что первым дойдет до нас ядро. Все люди безумно изменились; и первое ощущение боли послужило яростным сигналом для всеобщего плача и ужаса. Первое ощущение боли пришло от резкого стеснения грудной

клетки и легких и от невыносимой сухости кожи. Нельзя было отрицать, что наша атмосфера поражена; начались споры о составе атмосферы и о допустимых в ней изменениях. Итоги исследования пропустили по всем людским сердцам электрическую искру глубочайшего ужаса.

Давно было известно, что окружавший нас воздух представляет собою смесь кислорода и азота в пропорции двадцати одной доли кислорода к семидесяти девяти азота на каждые сто в атмосфере. Кислород, источник сгорания и проводник тепла, самое могучее и действенное вещество в природе, был абсолютно необходим для поддержания жизни. Азот, напротив, был не способен поддерживать жизнь или огонь. Противоестественный избыток кислорода привел бы, как было удостоверено, именно к такому подъему жизненных сил, какой мы незадолго до того испытали. Следование за этой идеей, ее развитие и породило ужас. К чему привело бы *полное удаление* азота? К воспламенению, неотвратимому, всепожирающему, повсеместному, немедленному; полностью сбудутся, в мельчайших и устрашающих подробностях, пламенные, вселяющие ужас обличения из пророчеств Священного Писания.

Есть ли нужда, Хармиона, живописать ничем не сдерживаемое исступление человечества? Разреженность кометы, ранее вселявшая в нас надежды, стала теперь источником горестного отчаяния. В ее газообразной неосязаемости мы ясно усмотрели свершение Судьбы. Тем временем прошли еще сутки, унося с собою последнюю тень Надежды. Мы задыхались в стремительно изменяющемся воздухе. Алая кровь, бурля, проносилась по тесным сосудам. Исступленный бред обуял всех людей; простерев оцепенелые руки к грозящим небесам, они пронзительно кричали, охваченные трепетом. И тут на нас надвинулось ядро разрушительницы; даже здесь, в Эдеме, я содрогаюсь, говоря об этом. Позволь мне быть краткой — краткой, как время, в которое постигла нас гибель. Какой-то миг сверкал зловещий, яростный свет, пронизывающий все. Тогда — позволь мне склониться, Хармиона, пред бесконечным величием всемогущего бога! — тогда раздался громовой, все наполняющий звук, словно бы исходивший из ЕГО уст; а вся масса эфира, в которой мы существовали, в единый миг вспыхнула неким пламенем, ослепительной яркости и всесжигающему жару, которого нет имени даже среди ангелов в горнем Небе чистого

знания. Так завершилось все.

Не закладывай черту своей головы

Рассказ с моралью[94]

«Con tal que las costumbres de un autor» — пишет дон Томас де Лас Торрес в предисловии к своим «Любовным стихам», — «sean puras y castas, importa muy poco que no sean igualmente severas sus obras», что в переводе на простой язык значит «если нравственность самого автора не вызывает сомнений, неважно, что за мораль содержится в его книгах». Мы полагаем, что дон Торрес за это утверждение находится сейчас в чистилище. Поэтической справедливости ради стоило бы продержать его там до тех пор, пока его «Любовные стихи» не будут распроданы или не покроются на полках пылью из-за отсутствия читателей. В каждой книге должна быть мораль; и что гораздо важнее, критики давно уже обнаружили, что в каждой книге она есть. Не так давно Филипп Меланхтон написал комментарий к «Войне мышей и лягушек», где доказал, что целью поэта было

---

[94] Примечания: 94

© Перевод. Н. Демурова.

возбудить отвращение к мятежу. Пьер Ла Сен пошел дальше, заявив, что поэт имел намерение внушить молодым людям, что в еде и питье следует соблюдать умеренность. Точно таким же образом Якобус Гюго утверждает, что в лице Эвнея Гомер изобразил Жана Кальвина, в Антиное — Мартина Лютера, в лотофагах — вообще протестантов, а в гарпиях — голландцев. Новейшие наши схоласты столь же проницательны. Эти молодцы находят скрытый смысл в «Допотопных», нравоучение в «Поухатане», новую философию в «Робине-Бобине» и трансцендентализм в «Мальчике-с-пальчик». Словом, они доказали, что если уж кто-нибудь берется за перо, то обязательно с самыми глубокими мыслями. Так что авторам теперь не о чем беспокоиться. Романист, к примеру, может совершенно не думать о морали. Она в книге есть, где именно — неизвестно, но есть, а в остальном — пусть критики и мораль позаботятся о себе сами. А когда пробьет час, все, что хотел сказать этот господин (я имею в виду, конечно, романиста), и все, чего он не хотел сказать, все предстанет на суд в «Дайеле» или в «Даун-Истере», равно как и то, что он должен был хотеть, и то, что он явно собирался хотеть, — словом, в конце концов все будет в порядке.

Итак, нет никаких причин для обвинений, возведенных на меня некоторыми неучами, — что я якобы не написал ни одного морального рассказа или, вернее, рассказа с моралью. Не этим критикам выводить меня на чистую воду, не им *читать* мне мораль, — впрочем, тут я умолкаю. Пройдет совсем немного времени, и «Североамериканское трехмесячное обозрение» заставит их устыдиться собственной глупости. Тем временем, чтоб избежать расправы — чтоб смягчить выставленные против меня обвинения, — я предлагаю вниманию публики нижеследующую печальную историю, историю, мораль которой совершенно ясна и несомненна, ибо всякий, кто только захочет, может узреть ее в заглавии, напечатанном крупными буквами. Прошу воздать мне должное за этот прием, гораздо более остроумный, чем у Лафонтена и всех прочих, что приберегают нравоучение до самой последней минуты, а потом подсовывают его вам в конце, словно изжеванный окурок.

Defuncti injuria ne afficiantur[95] — таков был закон двенадцати таблиц, а De mortuis nil nisi

---

[95] Примечания: 95
Правонарушение мертвого неподсудно (лат.).

bonum[96] — тоже прекрасное изречение, хоть покойный, о котором идет здесь речь, возможно, всего лишь покойный старый диван. Вот почему я далек от мысли поносить моего почившего друга, Тоби Накойчерта. Жизнь у него, правда, была собачья, да и умер он, как собака; но он не несет вины за свои грехи. Они были следствием некоторого врожденного недостатка его матери. Когда он был еще младенцем, она порола его на совесть: выполнять свой долг всегда доставляло ей величайшее наслаждение — на то она и была натурой рационалистической, а дети — что твои свиные отбивные или нынешние оливы из Греции — чем больше их бьешь, тем лучше они становятся. Но — бедная женщина! — на свое несчастье она была левшой, а детей лучше вовсе не пороть, чем пороть слева. Мир вертится справа налево, и если пороть дитя слева направо, ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый удар в нужном направлении выколачивает из дитяти дурные наклонности, а отсюда следует, что порка в противоположном направлении, наоборот, вколачивает в него определенную порцию зла. Я часто присутствовал при этих экзекуциях и

[96] Примечания: 96
О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).

уже по тому, как Тоби при этом брыкался, понимал, что с каждым разом он становится все неисправимее. Наконец сквозь слезы, стоявшие в моих глазах, я узрел, что он отпетый негодяй, и однажды, когда его отхлестали по щекам так, что он совсем почернел с лица и вполне сошел бы за маленького африканца, я не выдержал, пал тут же на колени и зычным голосом предрек ему скорую погибель.

Сказать по правде, он так рано вступил на стезю порока, что просто диву даешься. Пяти месяцев от роду он нередко приходил в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. В шесть я поймал его на том, что он жует колоду карт. В семь он только и делал, что тискал младенцев женского пола. В восемь он наотрез отказался подписать обет трезвости. И так из месяца в месяц он все дальше продвигался по этой стезе; а когда ему исполнился год, он не только отрастил себе усы и ни за что не желал их сбрить, но и приобрел недостойную джентльмена привычку ругаться, божиться и биться об заклад.

Это его в конце концов и погубило, как, впрочем, я и предсказывал. Склонность эта «росла и крепла вместе с ним», так что, возмужав, он, что ни слово — предлагал биться с ним об заклад.

Нести что-нибудь в заклад он и не думал — о нет! Не такой он был человек, надо отдать ему должное, — да он скорее стал бы нести яйца! Это была просто форма, фигура речи — не более. Подобные предложения в его устах не имели решительно никакого смысла. Это были простые, хоть и не всегда невинные, присказки — риторические приемы для закругления фразы. Когда он говорил: «Готов прозакладывать тебе то-то и то-то», — никто никогда не принимал его всерьез, и все же я счел своим долгом вмешаться. Привычка эта безнравственна — так я ему и сказал. Вульгарна — в этом он может положиться на меня. Общество ее порицает — это чистейшая правда. Она запрещена специальным актом Конгресса — не стану же я ему лгать. Я уговаривал — бесполезно. Я выговаривал — тщетно. Я просил — он скалил зубы. Я умолял — он заливался смехом. Я проповедовал — он издевался. Я грозился — он осыпал меня бранью. Я дал ему пинка — он кликнул полицию. Я взял его за нос — он сморкнулся мне прямо в руку и заявил, что готов прозакладывать голову черту: больше я этого опыта не повторю.

Бедность была другим пороком, коим Тоби Накойчерт обязан был врожденному недостатку своей матери. Он был беден до отвращения, а

потому, естественно, в риторических его фигурах никогда не слышался звон монет. Я не припомню, чтоб он хоть раз сказал: «Бьюсь об заклад на доллар». Нет, обычно он говорил: «Готов спорить на что угодно», или «Пари на что угодно», или «Пари на любую ерунду», или, наконец, что звучало, пожалуй, гораздо внушительнее: «Готов заложить черту голову!»

Эта последняя формула, видно, нравилась ему больше других, возможно, потому, что риску тут было всего меньше, а Накойчерт в последнее время стал крайне бережлив. Поймай его даже кто-нибудь на слове, что ж — невелика потеря! Ведь голова-то у него тоже была невелика. Впрочем, все это просто мои догадки, и я отнюдь не уверен, что поступаю правильно, приписывая ему эти мысли. Как бы то ни было, выражение это с каждым днем нравилось ему все больше, несмотря на чудовищное неприличие ставить в заклад, словно банкноты, собственные мозги, но этого мой друг не понимал — в силу своей испорченности, несомненно. Кончилось тем, что он отказался от всех других формул и предался этой с таким усердием и упорством, что я только диву давался. Впрочем, все это немало меня сердило, как сердят меня любые обстоятельства, которых

я не понимаю. Тайна заставляет человека думать — а это вредно для здоровья. Признаюсь, было нечто неуловимое в манере, с которой мистер Накойчерт выговаривал эту ужасную фразу, — нечто неуловимое в самом произношении, что поначалу меня занимало, но понемногу стало приводить в смущение — за неимением лучшего слова, позвольте назвать это чем-то странным, хоть мистер Колридж назвал бы это мистическим, мистер Кант — пантеистическим, мистер Карлейль — казуистическим, а мистер Эмерсон — сверхвопросическим. Мне это не нравилось. Душа мистера Накойчерта была в опасности. Я решил пустить в ход все свое красноречие и спасти его. Я поклялся послужить ему так же, как святой Патрик в ирландской хронике послужил жабе, то есть «пробудить в нем сознание собственного положения». Я тотчас приступил к этой задаче. Снова я прибегнул к уговорам. Опять я собрал все свои силы для последней попытки.

Как только я закончил свою проповедь, мистер Накойчерт повел себя самым непонятным образом. Несколько минут он молчал — только смотрел с любопытством мне в лицо. Потом склонил голову набок и вздернул брови. Потом развел руками и пожал плечами. Потом под-

мигнул правым глазом. Потом повторил эту операцию левым. Потом крепко зажмурил оба. Потом так широко раскрыл их, что я начал серьезно опасаться за последствия. Затем приложил большой палец к носу и произвел остальными неописуемые движения. Наконец подбоченился и соблаговолил ответить.

Мне припоминаются лишь основные пункты этой речи. Он будет мне очень признателен, если я буду держать язык за зубами. Ему мои советы не требуются. Он презирает все мои инсинуации. Он уже не мальчик и может позаботиться о себе сам. Я, видно, думал, что имею дело с младенцем? Мне что — не нравится его поведение? Я что — решил его оскорбить? Я что — совсем дурак? А моей родительнице известно, что я покинул домашний очаг? Он задает мне этот вопрос как человек чести и почтет своим долгом поверить мне на слово. Еще раз — он требует от меня ответа: знает ли моя матушка, что я убежал из дому? Мое смущение меня выдает — он черту голову готов прозакладывать, что ей это неизвестно.

Мистер Накойчерт не стал дожидаться моего ответа. Он круто повернулся и без дальнейших околичностей покинул меня. Оно и к лучшему: чувства мои были задеты. Я даже рассердился. Я

готов был, против обыкновения, поймать его на слове — и с удовольствием отплатил бы ему за оскорбление, выиграв для Врага Человеческого небольшую головку мистера Накойчерта, — конечно, маменька моя прекрасно знала о сугубо временном характере моей отлучки.

Но Khoda shefa midêhed — Господь ниспошлет облегчение, как говорят мусульмане, когда наступишь им на ногу. Я был оскорблен при исполнении долга, и я снес обиду, как мужчина. Однако мне все же казалось, что я сделал все возможное для этого несчастного, и я решил не докучать ему более своими советами, но предоставить его самому себе — и собственной совести. Впрочем, хоть я и решил воздерживаться от увещеваний, все же я не мог вовсе оставить его на произвол судьбы. Мало того, я даже потакал некоторым из наименее предосудительных его склонностей и подчас, со слезами на глазах, хвалил его злые шутки, как хвалит привереда-гурман злую горчицу, — до того сокрушали меня его нечестивые речи.

В один прекрасный день, взявшись под руки, мы отправились с ним прогуляться к реке. Через реку был переброшен мост, и мы решили пройтись по нему. Мост, для защиты от непогоды, был

крытый, в виде галереи, в стенах которой проделано было несколько окошек, так что внутри было жутковато и темно. Войдя с яркого солнечного света под сумрачные своды, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Однако несчастный Накойчерт был по-прежнему весел и тут же предложил заложить свою голову черту в знак того, что я просто нюня. По всей видимости, он находился в чрезвычайно приподнятом расположении духа. Он был необыкновенно говорлив — что невольно навело меня на самые мрачные подозрения. «Не исключено, — думал я, — что у него припадок трансцендентализма». Впрочем, я недостаточно знаком со всеми признаками этой болезни для того, чтобы с уверенностью ставить диагноз; и, к несчастью, поблизости не было никого из моих друзей из «Дайела». Я упоминаю об этом прежде всего потому, что у бедного моего приятеля появились, как мне показалось, некоторые симптомы шутовской горячки, заставившей его валять дурака. Ему зачем-то понадобилось перепрыгивать через все, что ни встречалось нам по пути, или подлезать вниз на четвереньках, то вопя во весь голос, а то шепча какие-то странные слова и словечки, — и все это с самым серьезным выражением лица. Я, право, не знал — жалеть

мне его или надавать пинков. Наконец, пройдя почти весь мост до конца, мы увидели, что путь нам преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки. Я спокойно толкнул перекладину и прошел, как это обычно и делается. Но для мистера Накойчерта это было, конечно, слишком просто. Он, разумеется, заявил, что должен через нее перепрыгнуть, да еще и сделать курбет в воздухе. По совести говоря, я был уверен, что он этого сделать не может. Лучшим прыгуном-курбетистом через всякого рода заборы был мой друг мистер Карлейль, но я-то твердо знал, что он так прыгнуть не может, куда уж там Тоби Накойчерту. А потому я прямо ему заявил, что он жалкий хвастун и сделать этого не сумеет. В чем я впоследствии раскаялся — ибо он тут же объявил, что сумеет, пусть черт возьмет его голову.

Несмотря на прежнее свое решение, я открыл было рот, чтобы пожурить его за божбу, как вдруг услышал у себя за спиной легкое покашливание, словно кто-то тихонько произнес: «Кхе!» Я вздрогнул и с удивлением огляделся. Наконец взгляд мой упал на небольшого хромого господина преклонных лет и почтенной наружности, стоявшего в укромном уголке у стены. Вид у него был самый достойный — он был облачен во все

черное, рубашка блистала белизной, уголки воротничка были аккуратно подвернуты, высокий белый галстук подпирал подбородок, а волосы были расчесаны, как у девушки, на ровный пробор. Руки он в задумчивости сложил на животе, а глаза закатил под самый лоб.

Вглядевшись пристальнее, я заметил, что ноги у него прикрыты черным шелковым фартуком, и это показалось мне странным. Не успел я, впрочем, и слова сказать об этом удивительном обстоятельстве, как он остановил меня, снова промолвив: «Кхе!»

На это замечание я не тотчас нашелся что ответить. Дело в том, что на рассуждения такого лаконичного свойства отвечать вообще практически невозможно. Мне даже известен случай, когда одно «Трехмесячное обозрение» растерялось от единого слова «Вранье!» Вот почему я не стыжусь признать, что тут же обратился за помощью к мистеру Накойчерту.

— Накойчерт, — сказал я, — что с тобой? Ты разве не слышишь, этот господин сказал: «Кхе!»? — С этими словами я строго взглянул на своего друга, ибо, признаюсь, я вконец растерялся, а когда растеряешься, приходится хмурить брови и принимать суровый вид, чтобы не выглядеть совсем

дураком.

— Накойчерт, — заметил я (это прозвучало как ругательство, хоть, смею вас заверить, у меня этого и в мыслях не было). — Накойчерт, — проговорил я, — этот господин говорит: «Кхе!»

Я не собираюсь утверждать, что слова мои отличались глубоким смыслом, но впечатление от наших речей, как я замечаю, далеко не всегда пропорционально их смыслу в наших глазах. Швырни я в мистера Накойчерта пексановскую бомбу или обрушь я на его голову «Поэтов и поэзию Америки», он и тогда не был бы так огорошен, как услышав эти простые слова: «Накойчерт, что с тобой? Ты разве не слышишь — этот господин сказал: „Кхе!“?»

— Не может быть, — прошептал он, меняясь, в лице, словно пират, завидевший, что их настигает военный корабль. — Ты уверен, что он именно так и сказал? Что же, я, видно, попался — не праздновать же мне теперь труса. Остается одно — кхе!

Услышав это, пожилой господин просветлел — бог знает, почему. Он покинул свое укромное местечко у стены, подковылял, любезно улыбаясь, к Накойчерту, схватил его за руку и сердечно потряс ее, глядя все это время ему прямо в лицо

с выражением самой искренней и нелицеприятной благосклонности.

— Накойчерт, я совершенно уверен, что вы выиграете, Накойчерт, — проговорил он с самой открытой улыбкой, — но все же надо произвести опыт. Пустая проформа, знаете ли…

— Кхе, — отвечал мой приятель, снимая с глубоким вздохом свой сюртук, повязываясь по талии носовым платком, опуская концы губ и подымая очи к небесам, отчего лицо его приняло самое невероятное выражение, — кхе! — И, помолчав, он снова промолвил: «Кхе!» — другого слова я так от него больше и не услышал. «Ага, — подумал я, не высказывая, впрочем, своих мыслей вслух, — Тоби Накойчерт молчит — такого еще не бывало! Это, несомненно, следствие его прежней болтливости. Одна крайность влечет за собой другую. Интересно, помнит ли он, как ловко он меня допрашивал в тот день, когда я прочел ему свое последнее наставление? Во всяком случае, от трансцендентализма он теперь излечился».

— Кхе, — отвечал тут Тоби, словно читая мои мысли, с видом задумчивым и покорным.

Тут пожилой господин взял его под руку и отвел в глубь моста, подальше от калитки.

— Любезный друг, — сказал он, — для меня

дело чести предоставить вам нужный разбег. Подождите здесь, пока я не займу своего места у калитки, откуда мне будет видно, насколько изящно и трансцендентально вы возьмете этот барьер, — и не забудьте про курбет в воздухе. Конечно, все это пустая проформа… Я сосчитаю «раз, два, три — пошли». При слове «пошли» бегите, но никак не раньше. — Затем он занял свою позицию у калитки, минутку помолчал, словно в глубоком раздумье, а затем взглянул вверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся. Потом потуже затянул свой фартук, потом пристально посмотрел на Тоби Накойчерта и, наконец, произнес условный сигнал:

— Раз, два, три — пошли!

На слове «пошли», не раньше и не позже, мой бедный друг сорвался в галоп. Калитка была не так высока, как стиль мистера Лорда, но и не так низка, как стиль его критиков. В целом я был совершенно уверен, что он без труда ее перепрыгнет. «А если нет? Вот именно, в том-то и дело, — что, если нет? По какому праву, — сказал я про себя, — этот господин заставляет других прыгать? Да кто он такой, этот старикашка? Предложи он мне прыгнуть, я ни за что не стану — это уж точно, плевать мне на этого старого

черта». Как я уже сказал, мост был крытый, в виде такой нелепой галереи, и все слова отдавались в нем пренеприятнейшим эхом, — обстоятельство, которое я особо отметил, произнеся последние два слова.

Но что я сказал и что я подумал, и что я услышал — все это заняло лишь миг. Не прошло и пяти секунд, как бедный мой Тоби прыгнул, выделывая ногами в воздухе всевозможные фигуры. Я видел, как он взлетел вверх и сделал курбет над самой калиткой, но по какой-то совершенно необъяснимой причине через нее он так и не перепрыгнул. Впрочем, весь прыжок был делом одного мгновения; предаваться глубоким размышлениям у меня попросту не было времени. Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь с той же стороны калитки, с какой прыгнул. В тот же миг я заметил, что пожилой господин со всех ног бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху, из-под темного свода прямо над калиткой. Всему этому я немало поразился; впрочем, времени размышлять не было, ибо Накойчерт лежал, как-то особенно притаясь, и я решил, что он обижен в лучших своих чувствах и нуждается в моей поддержке.

Я поспешил к нему и обнаружил, что ему, как говорится, был нанесен серьезный урон. Сказать по правде, он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее нигде найти. Тогда я решил отвести его домой и послать за гомеопатами. Меж тем в голове у меня мелькнула одна мысль — я распахнул ближайшее окошко в стене и тут же узрел печальную истину. Футах в пяти над самой калиткой шла поперек узкая железная полоса, укреплявшая, как и ряд других, перекрытие на всем его протяжении. С острым ее краем, как видно, и пришла в непосредственное соприкосновение шея моего несчастного друга.

Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. Гомеопаты давали ему недостаточно малые дозы, да и то, что давали, он не решался принять. Вскоре ему стало хуже, и наконец он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений). Я оросил его могилу слезами, добавил диагональную полосу к его фамильному гербу, а весь скромный счет на расходы по погребению отправил трансценденталистам. Эти мерзавцы отказались его оплатить — тогда я вырыл тело мистера Накойчерта и продал его на мясо для собак.

Элеонора[97]

Sub conservatione formae specificae salva anmia.

***Raymond Lully*[98]**

Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видит сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновеньями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого звания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают

---

[97] Примечания: 97

© Перевод. Н. Демурова.

[98] Примечания: 98

При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. Раймунд Луллий (*лат.*).

они в безбрежный океан «света неизреченного» и вновь, словно мореплаватели нубийского географа, «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi»[99].

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состоянье неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событьях, образующих первую пору моей жизни, и состоянье сомненья и тени, относящихся к настоящему и воспоминаньям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. А потому рассказу о ранних моих днях верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал

---

[99] Примечания: 99
Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем (лат.).

ненароком в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжко нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, — я, моя кузина и мать ее.

Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижном покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую

глубь ее потоков до ложа из гальки на дне, — все это и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе господней.

Тут и там над этой травой, словно порожденья причудливых снов, вздымали стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев, воздающих хвалу своему властелину Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на

исходе третьего пятилетия ее жизни и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятья под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день и даже назавтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменилось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветенья. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное

облако, которое давно замечали мы возле Геспера, выплыло, сверкая золотом и багрянцем, и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Шираза во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, — подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в

сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня подарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизиуме, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у ней с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала, за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если

не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадильниц. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновенья. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменилось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинули долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью, в самый

дальний конец края, и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры, — начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадильниц, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжко стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз — о, только раз! — я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных

радостей мира.

* * *

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие, и пышность блестящего двора, и упоительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянило мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце — к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении любви. Разве могла моя страсть к девочке из долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклоненьем, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О

божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее всепомнящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался и не трепетал от той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна послышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! — ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.

Три воскресенья на одной неделе[100]

«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!

---

[100] Примечания: 100

© Перевод. И. Бернштейн.

Vide ton verre plein![101]

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что… что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

— Гм, — ответствовал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха, — сказал он. — Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того… касательно срока… ну, вы понимаете, дядюшка… срока, когда вам было бы удобнее всего… ну, по-

---

[101] Примечания: 101
Наполни опять свой пустой стакан!
Осуши свой полный стакан! (франц.)

кончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину, скажем, в нынешнем году или чуть позже, это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, — ты ведь славный мальчик, верно? Коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз, так и быть, уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр (заглушая мой голос). На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие, а заодно и приданое, не будем забывать о приданом, — постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — точнехонько,

сэр! — тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю! Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь. — И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаяньи выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен» был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенький, кругленький, гневливый человечек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «нет!» бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы

он рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особливо к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: «A quoi un poète est-il bon?»[102] — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как пес plus ultra[103] логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «Poeta nascitur non fit»[104] — надо переводить как: «Поэт у нас-то дурью

---

[102] Примечания: 102
Что проку от поэта? (франц.).

[103] Примечания: 103
Предел (лат.).

[104] Примечания: 104
Поэтом рождаются, а не становятся (лат.).

набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына, — почти так же сильно, как он любил Кейт, — и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати

каждый божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «pièce de résistance»[105] (в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего

[105] Примечания: 105
В кулинарии — самое сытное блюдо в меню (франц.).

союза. Он сам уже давно решил нас поженить и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — «assurément ce n'était pas sa faible»[106]. Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne[107] ерунде. И кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему он, безусловно, был человеком слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он не ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила мо-

[106] Примечания: 106
Это, безусловно, не было его слабостью (франц.).

[107] Примечания: 107
И всей такого рода (лат.).

ей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав но примеру современных бардов и ораторов на prolegomena[108] имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так — по велению Судеб, — что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт: М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему.

---

[108] Примечания: 108
Введение (греч.).

Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон: Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя: Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол…

Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя: Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус…

Кейт: Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул

мыс Доброй Надежды.

Дядя: Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус…

Я (поспешно): Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон, — расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист…

Пратт: В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз…

Кейт: Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье сегодня.

Дядя: Разумеется.

Пратт: Прошу у вас обоих прощения, по невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я…

Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?

Все: Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя: Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт: Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон: Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было

вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно, мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это, он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав): А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя: Да, да, конечно. Доктор О'Бол…

Смизертон (заглушая его): То есть, сэр, скорость его вращения — тысяча миль в час. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход

солнца произойдет ровно на чае раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль — на три часа, и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?

Дядя: Но О'Болтус…

Смизертон (очень громким голосом): Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя: Ах ты, черт, действительно… Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем,

что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

Поместье Арнгейм[109]

Прекрасной даме был подобен сад,
Блаженно распростертой в полусне,
Смежив под солнцем утомленный взгляд.
Поля небесные синели мне,
В цветении лучей сомкнувшись в вышине.
Роса, блестя у лилий на главе
И на лазурных листьях и в траве,
Была что звездный рой в вечерней синеве.

Джайлс Флетчер

От колыбели до могилы в паруса моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. И я употребляю слово «процветание» не в сугубо земном смысле. Для меня оно тождественно понятию «счастье». Человек, о котором я говорю, казался рожденным для предвозвещения доктрин Тюрго, Прайса, Пристли и Кондорсе — для частного воплощения всего, что считалось

---

[109] Примечания: 109

© Перевод. В. Рогов.

химерою перфекционистов. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой природе человека некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное изучение его жизни дало мне понять, что нарушение немногих простых законов гуманности обусловило несчастье человечества, что мы обладаем еще неразвитыми началами, способными принести нам довольство, и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех мыслей относительно великого вопроса о социальных условиях, не лишено вероятности, что отдельное лицо, при неких необычайных и весьма благоприятных условиях, может быть счастливым.

Мнений, подобных этому, целиком придерживался и мой молодой друг, и поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена его жизнь, была в значительной мере обусловлена заранее. И в самом деле, очевидно, что, располагай он меньшими способностями к бессознательной философии, которая порою так успешно заменяет жизненный опыт, мистер Эллисон обнаружил бы себя ввергнутым самою своею невероятною жизненною удачею во всеобщий водоворот горя,

разверзтый перед всеми, наделенными чем-либо незаурядным. Но я отнюдь не ставлю себе целью сочинение трактата о счастии. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простые основы или, точнее говоря, четыре условия блаженства. То, что он почитал главным, были (странно сказать!) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. «Здоровье, достигаемое иными средствами, — говорил он, — едва ли достойно зваться здоровьем». Он приводил как пример блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые как сословие могут по справедливости почитаться счастливее прочих. Его вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, было презрение к честолюбивым помыслам. Четвертым была цель, которая требовала постоянного к себе стремления; и он держался того мнения, что степень достижимого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели. Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала на Эллисона. Красотою и грацией он превосходил всех. Разум его был такого склада, что приобретение познаний являлось для него не

трудом, а скорее наитием и необходимостью. Он принадлежал к одной из знатнейших фамилий империи. Его невеста была самая прелестная и самая верная из женщин. Его владения всегда были обширны; но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех необычайных своих капризов, что потрясают общество и почти всегда коренным образом переменяют моральный склад тех, на кого направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до совершеннолетия мистера Эллисона в одной отдаленной провинции скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джентльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, измыслил прихотливый план: дать своему богатству расти в течение ста лет после своей смерти. Мудро, до мельчайших подробностей распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму ближайшему из своих родственников по фамилии Эллисон, который будет жить через сто лет. Было предпринято много попыток отменить это необычайное завещание; но то, что они носили характер ex post facto[110], обрекало их на провал;

---

[110] Примечания: 110
Предпринятых задним числом (лат.).

зато было привлечено внимание ревностного правительства и удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Этот акт, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка Сибрайта, составлявшим четыреста пятьдесят миллионов долларов[111].

Когда стали известны столь огромные размеры унаследованного богатства, то, разумеется, начала строить всяческие предположения относительно того, как им распорядятся. Величина и безусловное наличие суммы привели в растерянность всех, размышлявших об этом предмете. Про обладателя какого-либо умопостигаемого количества денег можно было вообразить что угодно.

---

[111] Примечания: 111

Случай, подобный вымышленному здесь, не так давно произошел в Англии. Фамилия счастливого наследника — Теллусон. Впервые я увидел сообщение об этом в «Путевых заметках» принца Пюклера-Мускау, который пишет, что унаследованная сумма составляет девяносто миллионов фунтов, и справедливо замечает, что «в размышлениях о столь обширной сумме и о службе, которую она может сослужить, есть даже нечто возвышенное». Для соответствия со взглядами, исповедуемыми в настоящем рассказе, я последовал сообщению принца, хотя оно и непомерно преувеличено. Набросок и фактически первая часть настоящего произведения была обнародована много лет назад — до выхода в свет первого выпуска восхитительного романа Сю «Вечный жид», на идею которого, быть может, навели его записки Мускау. — (Примеч. автора).

Владей он богатствами, только превосходящими богатства любого гражданина, легко было представить себе, что он пустится в безудержный разгул соответственно модам своего времени или займется политическими интригами, или начнет метить в министры, или купит себе высокий титул, или примется коллекционировать целые музеи virtu[112] или станет щедрым покровителем изящной словесности, наук, искусств, или свяжет свое имя с благотворительными учреждениями, известными широкою сферою деятельности. Но при столь невообразимом богатстве, действительным владельцем которого сделался наследник, чувствовалось, что эти цели, да и все обычные цели представляют слишком ограниченное поле. Обратились к цифрам, и они лишь привели в смущение. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода, что составляло миллион сто двадцать пять тысяч в месяц или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день, или тысячу пятьсот сорок один доллар в час, или двадцать шесть долларов в каждую

[112] Примечания: 112
Произведений искусства, редкостей (ит.).

быстролетную минуту. И вследствие этого обычные предположения решительно отбросили. Не знали, что и вообразить. Некоторые даже предположили, будто мистер Эллисон избавится, по крайней мере, от половины своего состояния, ибо такое множество денег уж совершенно ни на что не нужно, и обогатит целую рать родственников разделом избытков. Ближайшим из них он и в самом деле уступил то весьма необычное богатство, которым владел до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно принял решение по вопросу, послужившему среди его друзей поводом для многих обсуждений. И я не очень-то изумился, обнаружив, что именно он решил. В отношении частной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность отдельного человека хоть как-либо, в прямом значении слова, улучшить общее состояние человечества он (мне жаль в этом признаться) мало верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Он был поэт в самом благородном и широком смысле слова. Кроме того, он постиг истинную природу, высокие цели, высшее величие поэтического чувства. Он бессознательно понял, что самое полное, а быть может, единственно

возможное удовлетворение этого чувства заключается в созидании новых форм прекрасного. Некоторые странности, исходящие то ли из его раннего образования, то ли из самой природы его ума, придали всем его этическим представлениям характер так называемого материализма; и, быть может, это и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область воистину поэтического деяния заключается в создании новых видов чисто материальной красоты. И случилось так, что он не стал ни музыкантом, ни поэтом — если употреблять последний термин в его повседневном значении. А может быть, он пренебрег такою возможностью просто в соответствии со своим убеждением, что одно из основных условий счастья на земле заключается в презрении к честолюбивым помыслам. И право, не вероятно ли, что если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший чуждается того, что зовется честолюбием? И не может ли быть так, что иной, более великий, нежели Мильтон, оставался доволен, пребывая «немым и бесславным»? Я убежден, что мир никогда не видел — и если только цепь случайностей не вынудит ум благороднейшего склада к низменным усилиям, то мир

никогда и не увидит — полную меру победоносного свершения в самых богатых возможностями областях искусства, на которую вполне способна природа человеческая.

Эллисон не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не жил на свете человек, более глубоко поглощенный музыкой и поэзией. Весьма возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и сугубо поэтична по природе своей, слишком ограничена в размахе и результатах, и поэтому не могла когда-либо обратить на себя его пристальное внимание. Я успел упомянуть все отрасли искусства, на которые поэтическое чувство, по общепринятому мнению, распространяется. Но Эллисон утверждал, что наиболее богатая возможностями, наиболее истинная, наиболее естественная и, быть может, наиболее широкая отрасль его пребывает в необъяснимом небрежении. Никто еще не относил декоративное садоводство к видам поэзии; но друг мой полагал, что оно предоставляет истинной Музе великолепнейшие возможности. И вправду, здесь простирается обширнейшее поле для демонстрации фантазии, выражаемой в бесконечном сочетании форм невиданной ранее красоты; и элементы, ее составляющие, неизме-

римо превосходят все, что может дать земля. В многообразных и многокрасочных цветах и деревьях он усматривал самые прямые и энергичные усилия Природы, направленные на сотворение материальной красоты. И в направлении или в концентрации этих усилий, точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле, в применении лучших средств, в трудах ради полнейшего совершенства и заключалось, как он понял, исполнение не только его судьбы как поэта, но и высокой цели, с коей божество наделило человека поэтическим чувством.

«В приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле». Объясняя это выражение, мистер Эллисон во многом приблизил меня к разгадке того, что всегда казалось мне загадочным: разумею тот факт (его же оспорит разве лишь невежда), что в природе не существуют сочетания элементов пейзажа, равного тем, что способен сотворить гениальный живописец. Не сыщется в действительности райских мест, подобных тем, что сияют нам с полотен Клода. В самых пленительных из естественных ландшафтов всегда сыщется избыток или недостаток чего-либо — многие избытки и многие недостатки. Если составные части и могут по отдельности

превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, могущее быть улучшенным. Коротко говоря, на широких естественных просторах земли нет точки, внимательно смотря с которой взор живописца не найдет погрешностей в том, что называется «композицией» пейзажа. И все же до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу непревзойденной. Мы уклоняемся от состязаний с ее деталями. Кто дерзнет воспроизводить расцветку тюльпана или улучшать пропорции ландыша? Критическая школа, которая считает, что скульптура или портретная живопись должны скорее возвышать, идеализировать натуру, а не подражать ей, пребывает в заблуждении. Все сочетания черт человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к прекрасному, которое живет и дышит. Этот эстетический принцип верен лишь применительно к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, из-за опрометчивой тяги к обобщениям критики почли, будто он распространяется на все области искусства. Я сказал: почувствовав, ибо это чувство — не аффектация и не химера. И в математике явления — не точнее тех, которые открываются художни-

ку, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но положительно знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд произвольные сочетания материи образуют — и лишь они образуют — истинно прекрасное. Его мотивы, однако, еще не дозрели до выражения. Потребен более глубокий анализ, нежели тот, что ведом ныне, дабы вполне их исследовать и выразить. Тем не менее художника в его инстинктивных понятиях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в «композиции» будет недостаток, пусть в ее простое расположение форм внесут поправку, пусть эту поправку покажут всем художникам на свете, необходимость этой поправки признает каждый. И даже еще более того: для улучшения композиционного изъяна каждый из содружества в отдельности предложил бы одну и ту же поправку.

Повторяю, что материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа и, следственно, лишь в этой области возможность ее усовершенствования представлялась мне неразрешимою загадкою. Мои мысли о настоящем предмете ограничивались предположением, будто природа вначале тщилась создать поверхность земли в полном согласии с

человеческими понятиями о совершенной степени прекрасного, высокого или живописного, но что это начальное стремление не было выполнено ввиду известных геологических нарушений — нарушений форм и цветовых сочетаний, подлинный же смысл искусства состоит в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась сопряженною с ним необходимостью расценивать эти геологические нарушения как противоестественные и не имеющие никакой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвещают *смерть*. Объяснил он это следующим образом: допустим, что вначале на долю человека предназначалось бессмертие. Тогда первоначальный вид земной поверхности, отвечающий блаженному состоянию человека, не просто существовал, но был сотворен по расчету. Геологические же нарушения предвещали смертность, приуготовленную человеку в дальнейшем.

«Так вот, — сказал мой друг, — то, что мы считали идеализацией пейзажа, может таковою быть и в действительности, но лишь со смертной, или *человеческой, точки зрения*. Каждая перемена в естественном облике земли может, по всей

вероятности, оказаться изъяном в картине, если вообразить, что картину эту видят целиком — во всем ее объеме — с точки, далекой от поверхности Земли, хотя и не за пределами земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, рассматриваемой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему или цельному впечатлению. Ведь *могут быть* существа, некогда люди, а теперь людям невидимые, которым издалека наш беспорядок может показаться порядком, наша неживописность — живописною; одним словом, это земные ангелы, и необозримые декоративные сады обоих полушарий бог, быть может, скомпоновал для их, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, восприятия, утонченного смертью».

Во время обсуждения друг мой процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, успешно трактовал свою тему:

«Собственно есть лишь два стиля декоративного садоводства. Первый стремится напомнить первоначальную красоту местности, приспосабливаясь к окружающей природе; деревья выращивают, приводя их в гармонию с окрестными холмами или долинами; выявляют те

приятные сочетания размеров, пропорций и цвета, которые, будучи скрыты от неопытного наблюдателя, повсеместно обнаруживаются перед истинным ценителем природы. Результат этого естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий — в преобладании здоровой гармонии и порядка, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, подлежащих удовлетворению. В известном смысле он соотносится с различными стилями архитектуры. Возьмите величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, разновидности смешанного староанглийского стиля, родственного готике или елизаветинскому зодчеству. Что бы ни говорили против злоупотреблений в искусственном стиле садоводства, привнесение искусства придает саду бо`льшую красоту. Это отчасти радует глаз благодаря наличию порядка и плана, отчасти благодаря интеллектуальным причинам. Терраса с обветшалой, обросшей мохом балюстрадой напоминает прекрасные облики проходивших по ней в былые дни. И даже малейший признак искусства свидетельствует о

заботе и человеческом участии».

«Из того, что я ранее заметил, — продолжал Эллисон, — вы поймете, что я отвергаю выраженную здесь идею о возврате к естественной красоте данной местности. Естественная красота никогда не сравнится с созданной. Конечно, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении приятных сочетаний размеров, пропорций и цвета — лишь неясные слова, потребные для сокрытия неточной мысли. Процитированная фраза может значить что угодно или ничего и никуда нас не приводит. Что истинный результат естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот — положение, пригодное более для низменного стадного восприятия, нежели для пылких мечтаний гения. Негативные достоинства, здесь подразумеваемые, относятся к воззрениям той неуклюжей критической школы, которая в словесности готова почтить апофеозом Аддисона. А ведь правда, что добродетель, состоящая единственно в уклонении от порока, непосредственно воздействует на рассудок и поэтому может быть отнесена к правилам, но добродетель более высокого рода,

пылающая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь к заслугам отречения — к великолепию воздержания. Вне этих правил критическое искусство способно лишь строить предположения. Можно научить построению „Катона“, но тщетны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или „Ад“. Однако создание готово; чудо совершилось, и способность воспринимать делается всеобщею. Обнаруживается, что софисты негативной школы, которые по своей неспособности творить насмехались над творчеством, теперь громче всех расточают похвалы творению. То, что в своем зачаточном состоянии возмущало их ограниченный разум, по созревании неизменно исторгает восхищение, рожденное их инстинктивным чувством прекрасного».

«Наблюдения автора относительно искусственного стиля, — продолжал Эллисон, — вызывают меньше возражений. То, что добавление искусства придает саду бо`льшую красоту, справедливо, так же как и упоминание о свидетельстве человеческого участия. Выраженный принцип неоспорим — но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу может заключаться цель — цель, недостижимая сред-

ствами, как правило, доступными отдельным лицам, но которая, в случае достижения, придала бы декоративному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, что возникает от простого сознания человеческого участия. Поэт, обладая денежными ресурсами, был бы способен, сохраняя необходимую идею искусства или культуры, или, как выразился наш автор, участия, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, дабы внушить чувство вмешательства высших сил. Станет ясно, что, добиваясь подобного результата, он сохраняет все достоинства участия или плана, в то же время избавляя свою работу от жесткости или техницизма земного искусства. В самой дикой глуши — в самых нетронутых уголках девственной природы — очевидно искусство творца; но искусство это очевидно лишь для рассудка и ни в каком смысле не обладает явною силою чувства. Предположим теперь, что это сознание плана, созданного Всемогущим, понизится на одну ступень — придет в нечто подобное гармонии или соответствию с сознанием человеческого искусства, образует нечто среднее между тем и другим: вообразим, к примеру, ландшафт, где сочетаются простор и определенность, который одновременно прекрасен, великолепен

и странен, и это сочетание показывает, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают существа высшего порядка, но родственные человеку; тогда сознание участия сохраняется, в то время как элемент искусства приобретает характер промежуточной или вторичной природы, природы, которая не бог и не эманация бога, но именно природа, то есть нечто сотворенное ангелами, парящими между человеком и богом».

И посвятив свое огромное богатство осуществлению подобной грезы — в простых физических упражнениях на свежем воздухе, обусловленных его личным надзором над выполнением его замыслов, в вечной цели, созданной этими замыслами, в возвышенной духовности этой цели, в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему всемерно ощутить, в неиссякаемом источнике, утолявшем без пресыщения главную страсть его души, жажду прекрасного, и, сверх всего, в сочувствии женщины, чары и любовь которой обволокли его существование царственной атмосферою рая, Эллисон думал обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого вкупе с большим количеством прямого счастья, нежели представлялось госпоже де Сталь в самых востор-

женных ее мечтах.

Я не надеюсь дать читателю хоть какое-то отдаленное представление о тех чудесах, которые моему другу удалось осуществить. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания, я останавливаюсь на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того, и другого в их крайнем выражении.

Первый шаг мистера Эллисона заключался, разумеется, в выборе места; и едва начал он раздумывать об этом, как внимание его привлекла роскошная природа тихоокеанских островов. Он уж решился было отправиться путешествовать в южные моря, но, поразмыслив в течение ночи, отказался от этой идеи. «Будь я мизантроп, — объяснял он, — подобная местность подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, затруднительность прибытия и отбытия составили бы в этом случае главную прелесть ее, но пока что я еще не Тимон. В одиночестве я ищу покоя, но не уныния. Да ведь будет и много часов, когда от поэтических натур мне потребуется сочувствие сделанному мною. В этом случае мне надобно искать место невдалеке от многолюдного города, а близость его вдобавок послужит мне лучшим

подспорьем в выполнении моих замыслов».

В поисках подходящего места, подобным образом расположенного, Эллисон путешествовал несколько лет, и мне позволено было сопровождать его. Тысячу участков, приводивших меня в восторг, он отвергал без колебания по причинам, в конце концов убеждавшим меня в его правоте. Наконец мы достигли возвышенного плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной землею и очень красивого, откуда открывался панорамический вид обширнее того, что открывается с Этны, и, по мнению Эллисона, равно как и моему, превосходящий вид с прославленной горы в отношении всех истинных элементов живописного.

«Я сознаю, — сказал искатель, вздохнув с глубоким удовлетворением, после того как зачарованно взирал на эту сцену около часа, — я знаю, что здесь на моем месте девять десятых из самых придирчивых ничего бы не пожелали. Панорама воистину великолепна, и я восторгался бы ею, если бы великолепие ее не было бы чрезмерно. Вкус всех когда-либо знакомых мне архитекторов заставляет их ради „вида“ помещать здания на вершинах холмов. Ошибка очевидна. Величие в любом своем выражении, особенно же в

смысле протяженности, удивляет и волнует, а затем утомляет и гнетет. Для недолгого впечатления не может быть ничего лучшего, но для постоянного созерцания — ничего худшего. А для постоянного созерцания самый нежелательный вид грандиозности — это грандиозность протяженности, а худший вид протяженности — это расстояние. Оно враждебно чувству и ощущению замкнутости — чувству и ощущению, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся „на покой в деревню“. Смотря с горной вершины, мы не можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы».

Только к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которою Эллисон остался доволен. Разумеется, излишне говорить, где она расположена. Недавняя смерть моего друга привела к тому, что некоторому разряду посетителей был открыт доступ в его поместье Арнгейм, и оно снискало себе род утаенной славы, хотя и значительно большей по степени, но сходной по характеру со славою, которою так долго отличался Фонтхилл.

Обычно к Арнгейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром. До по-

лудня он следовал между берегов, исполненных спокойной, безмятежной красоты, на которых паслись бесчисленные стада овец — белые пятна среди яркой зелени холмистых лугов. Постепенно создавалось впечатление, будто из края землепашцев мы переходим в более дикий, пастушеский, — и впечатление это понемногу растворялось в чувстве замкнутости — а там и в сознании уединения. По мере того, как приближался вечер, русло сужалось; берега делались все более и более обрывисты, покрыты более густой, буйной и суровой по окраске растительностью. Вода становилась прозрачнее. Поток струился по тысяче излучин, так что вперед было видно не далее чем на фурлонг. Каждое мгновение судно казалось заключенным в заколдованный круг, обнесенный непреодолимыми и непроницаемыми стенами из листвы, накрытый крышею из ультрамаринового атласа и без пола, а киль с завидной ловкостью балансировал на киле призрачной ладьи, которая, перевернувшись по какой-то случайности вверх дном, плыла, постоянно сопутствуя настоящему судну ради того, чтобы держать его на поверхности. Теперь русло проходило по ущелью — пусть термин этот не вполне годится, я употребляю его лишь

потому, что в языке нет слова, которое лучше бы обозначило самую примечательную, хотя и не самую характерную черту местности. На ущелье она походила лишь высотою и параллельностью берегов, и ничем другим. Берега (между которыми прозрачная вода по-прежнему спокойно струилась) поднимались до ста, а порою и до ста пятидесяти футов и так наклонялись друг к другу, что в весьма большой мере заслоняли дневной свет; а длинный, перистый мох, в обилии свисавший с кустов, переплетенных над головою, придавал всему погребальное уныние. Поток извивался все чаще и все запутаннее, как бы петляя, так что путешественник давно уж терял всякое понятие о направлении. Кроме того, его охватывало восхитительное чувство странного. Мысль о природе оставалась, но характер ее казался подвергнутым изменениям, жуткая симметрия, волнующее единообразие, колдовская упорядоченность наблюдались во всех ее созданиях. Ни единой сухой ветви, ни увядшего листа, ни случайно скатившегося камешка, ни полоски бурой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или о незапятнанный мох, и резкость линий восхищала взор, хотя и приводила в растерянность.

Пройдя по этому лабиринту в течение нескольких часов, пока сумрак сгущался с каждым мигом, судно делало крутой и неожиданный поворот и внезапно, как бы упав с неба, оказывалось в круглом водоеме, весьма обширном по сравнению с шириною ущелья. Он насчитывал около двухсот ярдов в диаметре и всюду, кроме одной точки, расположенной прямо напротив входящего судна, был окружен холмами, в общем одной высоты со стенами ущелья, хотя и совсем другого характера. Их стороны сбегали к воде под углом примерно в сорок пять градусов, и от подошвы до вершины их обволакивали роскошнейшие цветы; вряд ли можно было бы заметить хоть один зеленый лист в этом море благоуханного и переливчатого цвета. Водоем был очень глубок, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, видимо, образованное густым скоплением маленьких круглых алебастровых камешков, порою было ясно видно, то есть, когда глаз мог позволить себе *не увидеть* в опрокинутом небе удвоенное цветение холмов. На них не росло никаких деревьев и даже кустов. Зрителя охватывало впечатление пышности, теплоты, цвета, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества, сладострастия и чудотворного, чрезвычайно за-

ботливого ухода, внушавшего мечтания о новой породе фей, трудолюбивых, наделенных вкусом, великолепных и изысканных; но пока взор скользил кверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины, растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес.

Внезапно вылетев в эту бухту из мрачного ущелья, гость восхищен, но и ошеломлен, увидев шар заходящего солнца, которое, по его предположениям, давно опустилось за горизонт, но оно встает перед ним, образуя единственный предел бесконечной перспективы, видной в еще одной расселине среди холмов.

Но тут путник покидает судно, на котором следовал дотоле, и спускается в легкую пирогу из слоновой кости, снаружи и внутри испещренную ярко-алыми арабесками. Острый нос и острая корма челна высоко вздымаются над водою, так что в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, исполненный горделивой грации лебедя. На палубе, устланной горностаевым мехом, лежит

единственное весло из атласного дерева, легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гостя уверяют, что судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, по всей видимости, недвижимо стоящем посередине озера. Но размышляя о том, что ему предпринять далее, он ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока нос ее не начинает указывать на солнце. Она движется, мягко, но равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, ею поднятая, как бы рождает, ударяясь в борт, божественную мелодию — как бы единственно возможное объяснение успокоительной, но грустной музыки, источник которой, растерянно оглядываясь окрест, путник напрасно ищет.

Ладья идет ровно и приближается к утесистым вратам канала, так что его глубины можно рассмотреть яснее. Справа поднимается высокая цепь холмов, покрытых дикими и густыми лесами. Заметно, однако, что восхитительная чистота на границе берега и воды остается прежней. Нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не столь суров, и его искусственность более заметна. Берег здесь поднимается весьма отлого, образуя широкий газон, трава на котором похожа более

всего на бархат, а ярким цветом выдерживает сравнение с чистейшим изумрудом. Ширина плато колеблется от десяти до трехсот ярдов; оно доходит до стены в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но все же в общем следует направлению реки, пока не теряется из виду, удаляясь к западу. Стена эта образована из цельной скалы и создана путем стесывания некогда неровного обрыва на южном берегу реки; но никаким следам рук человеческих не дозволено было остаться. Обработанный камень как бы окрашен столетиями, он густо увешан и покрыт плющом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Тождество верхней и нижней линий стены ясно оттеняется там и сям гигантскими деревьями, растущими поодиночке и маленькими группами как вдоль плато, так и по ту сторону стены, но в непосредственной к ней близости, так что очень часто ветви (особенно ветви черных ореховых деревьев) перегибаются и окунают свисающие конечности в воду. Что дальше — мешает увидеть непроницаемая лиственная завеса.

Все это видно во время постепенного продвижения челна к тому, что я назвал вратами перспективы. По мере приближения, однако, пут-

ник замечает, что сходство с ущельем пропало; слева открывается новый выход из бухты; туда же тянется и стена, по-прежнему следуя общему направлению потока. Вдоль этого нового русла видно не очень далеко, потому что поток вместе со стеною все еще загибается влево, пока обоих не поглощает листва.

Тем не менее ладья волшебным образом скользит в извилистый канал; и здесь берег, противоположный стене, оказывается похож на берег, противоположный стене в канале. Высокие холмы, порою по высоте равные горам и покрытые буйной и дикой растительностью, все же не дают увидеть то, что вдали.

Спокойно, хотя и с несколько большей скоростью двигаясь вперед, путник после многих коротких поворотов видит, что дальнейшую дорогу ему преграждают гигантские ворота или скорее дверь из отполированного золота, покрытая сложной резьбой и чеканкой и отражающая отвесные лучи к тому времени стремительно заходящего солнца, отчего весь окрестный лес как будто охвачен огненными языками. Дверь врезана в высокую стену, которая здесь кажется пересекающей реку под прямым углом. Однако через несколько мгновений становится видно,

что главное русло все еще описывает широкую и плавную дугу влево и стена, как прежде, идет вдоль потока, а от него ответвляется довольно большой рукав и, протекая с легким плеском под дверь, скрывается из глаз. Челн входит в рукав и приближается к воротам. Тяжкие створы медленно и музыкально распахиваются. Ладья проскальзывает между ними и начинает неудержимое нисхождение в обширный амфитеатр, полностью опоясанный лиловыми горами, чьи подножья омывает серебристая река. И разом является взору Аргеймский Эдем. Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья; там раскидистые кусты, стаи золотых и пунцовых птиц, озера, окаймленные лилиями, луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, — длинные, переплетенные извивы серебристых ручейков, и воздымается полуготическое-полумавританское нагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сильфид, фей, джиннов и гномов.

Очки[113]

Некогда принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взгляда»; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнетоэстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, — словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод — мне не исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия — весьма распространенная и довольно-таки плебейская — Симпсон. Я говорю «нынешняя», ибо я принял ее всего лишь в про-

---

[113] Примечания: 113

© Перевод. З. Александрова.

шлом году ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя, но только фамилию, а не имя; имя мое — Наполеон Бонапарт.

Фамилию Симпсон я принял неохотно; ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией — Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора «Хроник». Если говорить о фамилиях, отмечу кстати любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мосье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, — урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мосье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией — Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар

и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных proviso[114].

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос — довольно правильной формы. Глаза большие и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в

---

[114] Примечания: 114
Условиях (лат.).

сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального fanatico[115] было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представлявшую élite[116] нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на prima donna[117] как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была

---

[115] Примечания: 115
Фанатика (ит.).

[116] Примечания: 116
Избранную часть, цвет (франц.).

[117] Примечания: 117
Примадонну, певицу, исполняющую главную роль (ит.).

прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось не видным, но фигура была божественна — никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции, и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, beau idéal[118] моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлости фигуры, ее tournure[119] были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором из gaze aérienne[120], напомнившего мне о ventum

---

[118] Примечания: 118
Идеал (франц.).

[119] Примечания: 119
Осанка (франц.).

[120] Примечания: 120
Воздушного газа (франц.).

textilem[121] Апулея. Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегающий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на кисти руки, оставляя наружи лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом, несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным aigrette[122] из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое

---

[121] Примечания: 121
Ткани воздушной (лат.).

[122] Примечания: 122
Плюмажем, пучком (франц.).

влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял — я почувствовал — я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными — настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания — и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я и не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто — ка-

кая-то непостижимая тайна — что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив вместе с тем мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое — мужчина и поразительно красивая женщина, но виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен, а неумолимые законы приличия запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался, — но его не было, и я был в отчаянии.

Наконец мне пришло в голову обратиться к моему спутнику.

— Толбот, — сказал я, — *у вас* есть бинокль. Дайте его мне.

— Бинокль? Нет. К чему *мне* бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Толбот, — продолжал я, теребя его за пле-

чо, — послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю — встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, хороша, — сказал он.

— Интересно, кто такая?

— Бог ты мой, неужели вы *не знаете*? «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь». Это известная мадам Лаланд — первая красавица, — о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же вдова, завидная партия и только что из Парижа.

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.

— А меня представите?

— Разумеется, с большим удовольствием; но когда?

— Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.

— Отлично; а сейчас *помолчите*, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу; ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть

ее en face[123]. Лицо ее было прелестно — но это подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической натуры.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший

---

[123] Примечания: 123
Спереди (франц.).

у нее на поясе, поднесла его к глазам, навела и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен — но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить, и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно, с такой nonchalance[124], с такой безмятежностью, словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

---

[124] Примечания: 124
Небрежностью (франц.).

Удовлетворив свое любопытство — если это было любопытством, — она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило

и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела, отвела глаза, медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным, а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

Я уже сгорал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на пистолетах. Но тут я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление — мое глубокое изумление — и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой

улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость — мой восторг — мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя первая любовь — так я чувствовал. То была любовь — безграничная — неизъяснимая. То была «любовь с первого взгляда», и с первого же взгляда меня оценили и ответили мне взаимностью.

Да, взаимностью. Как мог я в этом усомниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной, столь богатой, несомненно образованной и отлично воспитанной, занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какою, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня — она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным — столь же беззаветным — столь же бескорыстным — и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная сутолока. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не су-

мев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что назавтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день наконец настал, то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. и спросил Толбота.

— Нету, — ответил слуга — собственный лакей Толбота.

— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов. — Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это нету?

— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же, как позавтракал, уехал в С. и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было

ясно, что мой внимательный друг, il fanatico, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо, — но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.

— Изумительна хороша! — воскликнул второй.

— Сущий ангел! — промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда

с нею в ложе.

— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит, — заметил тот из троих, кто заговорил первым.

— Да, поразительно, — сказал второй, — до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь Симпсон?

— Все еще? — переспросил я, — почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом.

— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon, Ninon, Ninon à bas —
A bas Ninon de L'Enclos![125]

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам

[125] Примечания: 125
Долой Нинон, Нинон, Нинон -
Долой Нинон де Ланкло! (франц.).

Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — осчастливила ангельскою улыбкой, ясно говорившей, что я узнан.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и наконец в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное: «Еще не приезжал».

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно, уехать до возвращения Толбота, а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо,

в котором излил свои чувства.

Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах, о своих немалых средствах и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, пришел. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась

честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

> «Мосье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его contrée[126]. Я приехал недавно и не был еще случай его étudier[127].
>
> С эта извинения, я скажу, hélas![128] Мосье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? Hélas! Я уже слишком много сказать.
>
> *Эжени Лаланд*».

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню.

---

[126] Примечания: 126
Страны (франц.).

[127] Примечания: 127
Изучить (франц.).

[128] Примечания: 128
Увы! (франц.)

А Толбот все еще не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее, умерить мой пыл, читать успокоительные книги, не пить ничего крепче рейнвейна и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все тем же слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:

> «Уехали вчера из С., а куда и надолго ли – не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши вашу руку, потому что вам всегда спешно.
> *Ваш покорный слуга Стабсс».*

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя

врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным, неудобным, outré[129] Все это она высказала с очаровательной naï veté[130] которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением, вспышкой, минутной фантазией, непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг нежным

[129] Примечания: 129
Вызывающим (франц.).

[130] Примечания: 130
Наивностью (франц.).

пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, — как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей любви, о своей страсти, о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь, — ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый — женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради меня она готова на любую жертву. Она имела в виду возраст. Знаю ли я — точно ли я знаю, какая разница в летах нас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать — двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд никогда не одобряла. Подобное

противоестественное различие слишком часто, увы, бывает причиной несчастливого супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, не известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня — привели в восхищение — и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

— Прелестная Эжени! — вскричал я. — О чем вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычаи света — всего лишь пустые условности. Для такой любви, как наша, не все ли равно — год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну а вам, милая Эжени, не может быть более — более чем — чем…

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди, уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой обворожительной своей улыбкой. — Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно — вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний levée[131]. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной зажгли карсельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весь-

[131] Примечания: 131
Прием (франц.).

ма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я услышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы — и все по меньшей мере хорошо. Когда собравшиеся требовательно закричали: «Мадам Лаланд», она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего появления в доме требовали, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу, но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильней. Я не сумею описать

его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего — глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной выразительности. Ее исполнение романса из «Отелло», интонация, с какою она пропела слова «Sul mio sasso»[132] из «Капулетти», доныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано, и хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан-Карло, она настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями: восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами, особенно эффектно прозвучал у нее финал «Сомнамбулы»:

Ah! non giunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena[133].

Тут, в подражание Малибран, она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G,

[132] Примечания: 132
Над моим утесом (ит.).

[133] Примечания: 133
Ум человеческий постичь не может
Той радости, которой я полна (ит.).

а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с напряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего — я не чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет — мотовства, пирушек, долгов и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, ко-

торый мне одно время докучал, в хроническом ревматизме, в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но доныне тщательно скрываемой слабости зрения.

— Что касается последнего, — сказала, смеясь, мадам Лаланд, — то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, — помните ли вы, mon cher ami[134], средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

— Еще бы не помнить! — воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

— Eh bien, mon ami[135], — продолжала она с

---

[134] Примечания: 134
Дорогой друг (франц.).

[135] Примечания: 135
Так вот, мой друг (франц.).

empressement[136] несколько меня удивившей. — Eh bien, mon ami, вы просите меня о даре, который называется бесценным. Вы просите моей руки, и притом завтра же. Если я уступлю вашим мольбам и вместе голосу собственного сердца, разве нельзя и мне требовать исполнения одной очень маленькой просьбы?

— Назовите ее! — воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам. — Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! Но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

— Вы должны, mon ami, — сказала она, — ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались, — слабость скорее моральную, чем физическую, и, поверьте, недостойную вашей благородной души — несовместимую с вашей прирожденной честностью — и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против

---

[136] Примечания: 136
Поспешностью, готовностью (франц.).

нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки. Тсс! Вы ведь уже обещали, ради меня. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так — и вот так — на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, ради меня, будете носить ее именно в виде очков, и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

— Согласен! — вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен. — Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидеться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее

чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет незаметно в него сесть. Мы поедем к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемся, простимся с Толботом и отправимся в небольшое путешествие на восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков. Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! Этот гордый греческий нос! Эти пышные темные локоны! «О, — сказал я себе ликуя, — какое поразительное сходство!» На обратной стороне медальона я прочел: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополуночи, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд — то есть

с миссис Симпсон — в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К. — милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

— А теперь, mon ami, — сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, — а теперь, когда мы сочетались нерасторжимыми узами, когда я уступила вашим пылким мольбам и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что и вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которое вы дали вчера вечером своей Эжени. Слу-

шайте! Вот что вы сказали: «Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден». Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

— Да, — ответил я, — у вас отличная намять; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустячного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? — И придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подобающее место; тем временем мадам Симпсон, поправив шляпку и скрестив руки, уселась на стуле в какой-то странной, напряженной и, пожалуй, неизящной позе.

— Боже! — вскричал я почти в тот же миг, как оправа очков коснулась моей переносицы. — Боже великий! Что же это за очки? — И быстро сняв их, я тщательно протер их шелковым платком и снова надел.

Но если в первый миг я был удивлен, то теперь удивление сменилось ошеломлением; ошеломление это было безгранично и могу даже сказать

— ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам — как? Неужели — неужели это румяна? А это — а это — неужели же это морщины на лице Эжени Лаланд? О, Юпитер, и все боги и богини, великие и малые! — что — что — что сталось с ее зубами? — Я в бешенстве швырнул очки на пол, вскочил со стула и стал перед миссис Симпсон, уперевшись руками в бока, скрежеща зубами, с пеною у рта, но не в силах ничего сказать от ужаса и ярости.

Я уже сказал, что мадам Эжени Лаланд — то есть Симпсон — говорила на английском языке почти так же плохо, как писала, и поэтому обычно к нему не прибегала. Но гнев способен довести женщину до любой крайности; на этот раз он толкнул миссис Симпсон на нечто необычайное: на попытку говорить на языке, которого она почти не знала.

— Ну и что, мсье, — сказала она, глядя на меня с видом крайнего удивления. — Ну и что, мсье? Что слюшилось? Вам есть танец, святой Витт? Если меня не нрависьте, зачем купите кот в мешок?

— Негодяйка! — произнес я, задыхаясь. — Мерзкая старая ведьма!

— Едьма? Стари? Не такой вообще стари. Только восемьдесят два лета.

— Восемьдесят два! — вскричал я, пятясь к стене. — Восемьдесят две тысячи образин! Ведь на медальоне было написано: двадцать семь лет и семь месяцев!

— Конечно! Все есть верно! Но портрет рисовал уже пятьдесят пять год. Когда шел замуж, второй брак, с мсье Лаланд, делал портрет для мой дочь от первый брак с мсье Муассар.

— Муассар? — сказал я.

— Да, Муассар, Муассар, — повторила она, передразнивая мой выговор, который был, по правде сказать, не из лучших. — И что? Что вы знать о Муассар?

— Ничего, старая карга. Я ничего о нем не знаю. Просто один из моих предков носил эту фамилию.

— Этот фамиль? Ну, что вы против этой фамиль имей? Ошень хороший фамиль; и Вуассар — тоже ошень хороший. Мой дочь мадмуазель Муассар выходил за мсье Вуассар; тоже ошень почтенный фамиль.

— Муассар! — воскликнул я, — и Вуассар! Да что же это такое?

— Что такой? Я говорю Муассар и Вуассар, а еще могу сказать, если хочу, Круассар и Фруассар. Дочь моей дочи, мадмуазель Вуассар, она женился

на мсье Круассар, а моей дочи внучь, мадмуазель Круассар, она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что эти тоже не есть почтенный фамиль?

— Фруассар! — сказал я, чувствуя, что близок к обмороку. — Неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

— Да! — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги, — да! Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Но мсье Фруассар — это один большой, как говорит, дюрак — очень большой осел, как вы сам — потому что оставлял la belle France[137] и ехал этой stupide Amérique[138] — а там имел один ошень глюпи, ошень-ошень глюпи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имя — Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что это не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее исступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула как одержимая, уронив при этом на пол турнюр величиною с целую гору. Она

---

[137] Примечания: 137
Прекрасную Францию (франц.).

[138] Примечания: 138
Дурацкую Америку (франц.).

скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозила мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе — огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплясала на них какое-то подобие фанданго.

Я между тем ошеломленно опустился на ее стул. «Муассар и Вуассар», — повторял я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. «Круассар и Фруассар», — твердил я, пока она заканчивала другое. «Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это я — я — слышишь? — *я-а-а!* Наполеон Бонапарт Фруассар — это *я*, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!»

Мадам Эжени Лаланд, quasi[139] Симпсон — по первому мужу Муассар — действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя

---

[139] Примечания: 139
Почти (франц.).

к этому жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц — un peu passées[140] французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа — мадам Стефани Лаланд.

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым

---

[140] Примечания: 140
Несколько поблекших (франц.).

образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу, и в полном соответствии с истиной сообщил мне, что это «известная вдова, мадам Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о «прелестной вдове, мадам Лаланд» все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от

Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее музыкальном soirée[141], я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда «мадам Лаланд» просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если б я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня подействовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по

[141] Примечания: 141
Вечере (франц.).

глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез «счастливую чету» из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над dénouement[142] моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я не стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует, но я все же стал мужем мадам Лаланд — мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти — если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с billets doux[143] и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

---

[142] Примечания: 142
Развязкой (франц.).

[143] Примечания: 143
Любовными письмами (франц.).

Повесть Крутых гор[144]

Осенью 1827 года, когда я некоторое время жил в штате Виргиния под Шарлоттсвиллом, мне довелось познакомиться с мистером Огестесом Бедлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство. Я обнаружил, что и телесный и духовный его облик равно для меня непостижимы. О его семье я не смог получить никаких достоверных сведений. Мне так и не удалось узнать, откуда он приехал. Даже его возраст — хотя я и назвал его «молодым человеком» — в немалой степени смущал меня. Бесспорно, он выглядел молодым и имел обыкновение ссылаться на свою молодость, и все же бывали минуты, когда мне начинало чудиться, что ему не менее ста лет. Однако более всего поражала в нем его внешность. Он был очень высок и тощ. Он всегда горбился. Его руки и ноги были необыкновенно худы, лоб — широк и низок. Лицо его покрывала восковая бледность. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и

---

[144] Примечания: 144

© Перевод. И. Гурова.

совершенно крепкие, отличались удивительной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не была неприятной, как можно предположить, но она никогда не изменялась и свидетельствовала лишь о глубочайшей меланхолии, о постоянной неизбывной тоске. Его глаза были неестественно велики и круглы, как у кота. И зрачки их при усилении или уменьшении света суживались и расширялись так, как это наблюдается у всего кошачьего племени. В минуты волнения они начинали сверкать самым невероятным образом и как бы испускали яркие лучи — не отраженные, но зарождающиеся внутри, как в светильнике или в солнце; впрочем, чаще всего они оставались пустыми, мутными и тусклыми, какими могут быть глаза давно погребенного трупа.

Эти особенности его наружности, по-видимому, были ему крайне тягостны, и он постоянно упоминал о них виноватым и оправдывающимся тоном, который вначале производил на меня самое гнетущее впечатление. Вскоре, однако, я привык к нему, и неприятное чувство рассеялось. Казалось, Бедлоу пытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким и что постоянные невралгические припад-

ки лишили его более чем незаурядной красоты и сделали таким, каким я его вижу теперь. В течение многих лет его лечил врач по фамилии Темплтон — человек весьма преклонного возраста, лет семидесяти, если не более, — к которому он впервые обратился в Саратоге и получил (или лишь вообразил, будто получил) большое облегчение. В результате Бедлоу, человек очень богатый, предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание, и тот согласился посвятить все свое время и весь свой медицинский опыт ему одному.

В молодости доктор Темплтон много путешествовал и в Париже стал приверженцем многих доктрин Месмера. Те мучительные боли, которые постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнетических средств, и вполне естественно, что Бедлоу проникся определенным доверием к идеям, эти средства породившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все усилия, чтобы окончательно убедить свого пациента в их истинности, и преуспел в этом настолько, что страдалец согласился участвовать в различных экспериментах. Постоянное повторение этих экспериментов привело к возникновению фе-

номена, который в наши дни стал настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, но в эпоху, мною описываемую, был в Америке почти неизвестен. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установилась весьма четкая и сильно выраженная магнетическая связь, или rapport. Впрочем, я не склонен утверждать, что этот rapport выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетический сон месмерист потерпел полную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели, причем ценой долгих и напряженных стараний. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. Но вскоре после этого воля врача окончательно возобладала над волей пациента, и в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызвать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса совершаются ежедневно на глазах тысяч свидетелей, я осмеливаюсь занести на бумагу, как неоспоримый факт, то, что на первый взгляд представляется немыслимым.

Натура Бедлоу была в высшей степени чувстви-

тельной, восприимчивой и восторженной. Он обладал чрезвычайно деятельным и творческим воображением, и, без сомнения, оно приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бедлоу принимал постоянно и в огромных количествах и без которого он просто не мог существовать. Он имел привычку глотать большую дозу каждое утро сразу же после завтрака — а вернее, сразу же после чашки крепкого черного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не ел, — и затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только собакой на прогулку среди диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Шарлоттсвилла и удостоенных от местных жителей почетного наименования «Крутые горы».

Как-то в конце ноября, в пасмурное, теплое и туманное утро, принадлежащее тому странному междуцарствию времен года, которое в Америке называют «индейским летом», мистер Бедлоу по своему обыкновению ушел в холмы. День уже кончался, а он все еще не возвратился.

Примерно в восемь часов вечера, серьезно обеспокоенные его столь длительным отсутствием, мы уже собрались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся, — чувствовал он себя не хуже,

чем обыкновенно, и был в состоянии возбуждения, для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и о событиях, его задержавших, было поистине необычайным.

— Как вы, несомненно, помните, — начал он, — я покинул Шарлоттсвилл около девяти часов утра. Я сразу же направился к горам и в десять часов вступил в узкую долину, дотоле мне неизвестную. С большим интересом следовал я по ее извивам. Ландшафт, открывавшийся моему взору, вряд ли можно назвать величественным, однако его отличала неописуемая — а для меня восхитительная — унылая пустынность. В безлюдии и дикости долины была какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые камни до меня еще не ступала нога человека. Вход в эту долину настолько укрыт и настолько трудно доступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей, и я действительно мог быть первым, кто вторгся в нее, — первым и единственным смельчаком, проникшим в ее тайные пределы.

На долину вскоре спустился тот особый молочный туман, который свойствен только поре индейского лета, и оттого все вокруг стало казаться еще более смутным и неопределенным.

Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более чем в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилиста, и, так как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. В трепетании листа, в оттенке стебелька травы, в очертаниях трилистника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в легких ароматах, доносившихся из леса, — во всем обреталась целая вселенная намеков, все давало пищу для веселого и пестрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей.

Погруженный в них, я шел так несколько часов, а туман становился все гуще, и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут мною овладела неописуемая тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот разверзнется бездна. К тому же мне на ум пришли странные истории, которые рассказываются об этих Крутых горах, о свирепых полудиких

людях, которые обитали в их рощах и пещерах. Тысячи неясных фантазий — фантазий, еще более тягостных из-за своей неясности, — угнетали мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно мое внимание привлек громкий барабанный бой.

Изумление мое, разумеется, было чрезвычайным. Эти горы никогда не видели барабана. Мое удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела. Однако вскоре мое недоумение и любопытство стократно возросли — раздалось оглушительное бряцание, точно кто-то взмахнул связкой гигантских ключей, и мгновение спустя мимо меня с воплем пробежал полунагой смуглый человек. Он промчался настолько близко от меня, что я почувствовал на своем лице его горячее дыхание. В одной руке он нес инструмент, состоявший из множества стальных колец, и на бегу энергично им встряхивал. Не успел он исчезнуть в тумане, как следом за ним, хрипло дыша, пробежал огромный зверь с ощеренной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться — это была гиена!

Вид чудовища скорее развеял, нежели усугубил мой ужас, ибо теперь я убедился, что грежу, и попытался заставить себя очнуться. Я смело

и решительно пошел вперед. Я протер глаза. Я громко закричал. Я несколько раз ущипнул себя. Увидев журчащий ключ, я ополоснул руки и смочил водой голову и шею. Это как будто рассеяло одолевавшие меня неясные ощущения. Я поднялся на ноги, чувствуя себя другим человеком, и спокойно и безмятежно продолжал свой неведомый путь.

Наконец, утомленный ходьбой и странной духотой, разлитой в воздухе, я сел отдохнуть под деревом. Вскоре сквозь туман забрезжили слабые солнечные лучи, и на траву легли прозрачные, но четкие тени листьев. С изумлением я долго смотрел на эти тени. Их очертания ошеломили меня. Я поднял глаза вверх. Это дерево было пальмой!

Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, ибо уже не мог убеждать себя, будто я грежу. Я видел… я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами — и теперь эти чувства распахнули передо мною мир новых и необычных ощущений. Жара мгновенно стала невыносимой. Ветер наполнился странными запахами. До моих ушей донесся слабый непрерывный ропот, словно поблизости струилась полноводная, но тихая река, и к этому ропоту примешивался своеобразный гул множества

человеческих голосов.

Пока я прислушивался, вне себя от изумления, которое и не буду пытаться описывать, краткий, но сильный порыв ветра рассеял туман, словно по мановению магического жезла.

Я увидел, что нахожусь у подножья высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На ее берегу раскинулся восточного вида город, о каких мы читаем в арабских сказках, но своеобразием превосходящий их все. С того места, где я стоял высоко над городом, моему взгляду были доступны все самые укромные его уголки, как будто я смотрел на его план. Бесчисленные улицы вились во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга, — собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие длинные проулки, заполненные кишащими толпами. Дома поражали причудливой живописностью. Повсюду изобилие балконов, веранд, минаретов, святилищ и круглых окошек с резными решетками. Базары во множестве манили покупателей бесконечным разнообразием дорогих товаров, количество которых превосходило всякое вероятие, — шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, вели-

колепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамена и паланкины, носилки с закутанными в покрывала знатными дамами, слонов в расшитых попонах, уродливых каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копья, серебряные и позолоченные палицы. И среди этих толп и суеты, по запутанному, хаотичному лабиринту улочек, среди миллионов темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах, в свободных одеждах, с пышными кудрявыми бородами, бродили мириады украшенных лентами храмовых быков, а гигантские полчища грязных, но священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах мечетей или резвились на минаретах и в оконных нишах. От заполненных народом улиц к берегу реки спускались неисчислимые лестницы, ведшие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывавшими от глаз самую ее поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пальм, а также других диковинных деревьев небывалой высоты и толщины. Там и сям взор встречал рисовое поле, крытую листьями крестьянскую хижину, водоем, одинокий храм, цыганский табор или

грациозную девушку, которая с кувшином на голове спускалась к берегу величавой реки.

Теперь вы, конечно, скажете, что я спал и грезил, но это было не так. Тому, что я видел, что я слышал, что ощущал, что думал, ни в чем не была свойственна смутность, всегда присущая снам. Вся картина была исполнена строгих соответствий и логики. Вначале, сомневаясь, не чудится ли мне это, я применил несколько проверок, которые скоро убедили меня, что я бодрствую и сознание мое ясно. А ведь когда человеку снится сон и он во сне подозревает, что все происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тотчас пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая: «Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон». Если бы, когда это видение предстало передо мною, я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно, несомненно, оказалось бы именно сном, но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится счесть его каким-то иным явлением.

— Я не скажу, что вы в этом ошиблись, — заметил доктор Темплтон. — Однако продолжайте. Вы встали и спустились в город.

— Я встал, — произнес Бедлоу, глядя на доктора с глубочайшим изумлением, — я встал, как вы сказали, и спустился в город. На пути туда я скоро оказался среди людей, бесчисленными потоками заполнявших все ведущие к нему дороги и каждым своим жестом выдававших бурное возбуждение и волнение. Внезапно под влиянием неизъяснимого импульса я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я, казалось, чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал, какую и в чем. Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность. Я поспешил удалиться от них и быстро добрался до города кружным путем. Там царило величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат, облаченных в полуиндийские-полуевропейские одежды, под командой офицеров в мундирах, схожих с британскими, отражал натиск городской черни, несравненно более многочисленной. Я присоединился к слабейшим, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, не зная, против кого, хотя и сражался с нервной яростью, рожденной отчаянием. Однако нас было слишком мало, и вскоре, вынужденные отступить, мы укрылись в

здании, напоминавшем павильон. Там мы забаррикадировались и на некоторое время получили передышку. Сквозь амбразуру у самого свода я увидел, как огромная буйствующая толпа окружила и принялась штурмовать изящный дворец над рекой. Вскоре в одном из окон верхнего этажа этого дворца показался изнеженного вида человек и начал спускаться вниз по веревке, свитой из тюрбанов его приверженцев. Тут же ему подали лодку, и он уплыл на ней на противоположный берег реки.

И тут моей душой овладело новое стремление. Я обратился к моим товарищам с кратким, но настойчивым призывом и, убедив некоторых из них, предпринял отважную вылазку. Покинув павильон, мы врезались в окружавшую его толпу. Сначала враги расступились перед нами, затем оправились от неожиданности и бросились на нас как бешеные, но снова отступили. Тем временем, однако, мы оказались в стороне от павильона, среди узких проулков, над которыми почти смыкались верхние этажи домов, так что сюда никогда не заглядывало солнце. Городская чернь дерзко окружила нас, грозя нам копьями, пуская в нас тучи стрел. Эти последние были весьма примечательны и по виду несколько на-

поминали извилистые лезвия малайских крисов. Им придавалось сходство с телом ползущей змеи. Длинные и темные, они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладела мгновенная и невыразимая ужасная дурнота. Я забился в судорогах… я испустил конвульсивный вздох… и умер.

— Ну, уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать, — сказал я с улыбкой, — что все ваше приключение было сном! Не станете же вы утверждать, что вы мертвы?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бедлоу ответит мне какой-нибудь веселой шуткой, но, к моему удивлению, он запнулся, вздрогнул, побелел как полотно и ничего не сказал. Я поглядел на Темплтона. Он сидел, выпрямившись и словно окостенев, его зубы стучали, а глаза вылезали из орбит.

— Продолжайте! — хрипло сказал он наконец, обращаясь к Бедлоу.

— В течение нескольких минут, — заговорил тот, — моим единственным ощущением, моим единственным чувством были бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мертвым. Затем мою душу как бы сотряс внезап-

но удар, словно электрический. И он принес с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я, казалось, воспарил над землей. Но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась. Смятение улеглось. В городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подо мной лежал мой труп — из виска торчала стрела, голова сильно распухла и приобрела ужасный вид. Но все это я чувствовал, а не видел. Меня ничто не интересовало. Даже труп, казалось, не имел ко мне никакого отношения. Воля моя исчезла без следа, но что-то побуждало меня двигаться, и я легко полетел прочь от города, следуя тому же окольному пути, каким вступил в него. Когда я снова достиг того места в долине, где видел гиену, я снова испытал сотрясение, точно от прикосновения к гальванической батарее; ко мне вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой и поспешно направился в сторону дома, однако случившееся со мной нисколько не утратило живости и реальности, и даже теперь, в эту самую минуту, я не могу заставить себя признать, что все это было лишь сном.

— О нет, — с глубокой и торжественной серьез-

ностью сказал Темплтон, — хотя и трудно найти иное наименование для того, что с вами произошло. Предположим лишь, что душа современного человека находится на пороге каких-то невероятных открытий в области психического. И удовлетворимся этим предположением. Остальное же я могу в какой-то мере объяснить. Вот акварельный рисунок, который мне следовало бы показать вам ранее, чему мешал неизъяснимый ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать.

Мы посмотрели на акварель, которую он протянул нам. Я не обнаружил в ней ничего необычайного, однако на Бедлоу она произвела поразительное впечатление. Он чуть не упал в обморок. А ведь это был всего лишь портрет, воспроизводивший — правда, с неподражаемой точностью, — его собственные примечательные черты. Во всяком случае, так думал я, глядя на миниатюру.

— Посмотрите, — сказал Темплтон, — на год, каким помечена акварель. Видите, вон в том углу где заметные цифры — тысяча семьсот восемьдесят? Это год написания портрета. Он изображает моего покойного друга, некоего мистера Олдеба, с которым я близко сошелся в Калькутте в губер-

наторство Уоррена Гастингса. Мне было тогда лишь двадцать лет. Когда я увидел вас в Саратоге, мистер Бедлоу, именно чудесное сходство между вами и портретом побудило меня искать знакомства и дружбы с вами, а также принять ваше предложение, которое позволило мне стать вашим постоянным спутником. Мной при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определенной степени и тревожное, не свободное от ужаса любопытство, которое возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бенарес на священной реке Ганге. Уличные беспорядки, схватка с толпой и гибель части отряда представляют собой реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Сингха, которое произошло в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распростился с жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенной из тюрбанов, был Чейт Сингх. В павильоне укрылись сипаи и английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно решился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно — он

пал в одной из улиц, пораженный отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдеб. Как покажут вот эти записи, — доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны и, очевидно, совсем недавно, — в те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь, дома, заносил эти события на бумагу.

Примерно через неделю после этого разговора в шарлоттсвиллской газете появилось следующее сообщение:

«Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Огестеса Бедло, джентльмена, чьи любезные манеры и многие достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилла.

Мистер Б. последние годы страдал невралгией, припадки которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необыкновенна. Во время прогулки по Крутым горам несколько дней тому назад покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождавшаяся сильными приливами крови к голове. Поэтому доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и к вискам больного были приложены пиявки. Че-

рез ужасающе короткий срок больной скончался, и тогда выяснилось, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос — один из тех, которые иногда встречаются в пригородных прудах. Этот мерзкий кровопийца присосался к малой артерии на правом виске. Его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно.

Примечание. Шарлоттсвиллский ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявки черной окраской, а главное, особой манерой извиваться, напоминающей движение змеи».

Я беседовал с издателем шарлоттсвиллской газеты об этом необыкновенном происшествии и между прочим спросил, почему фамилия покойного была напечатана «Бедло».

— Полагаю, — сказал я, — у вас были какие-то основания для такого ее написания, но мне всегда казалось, что она оканчивается на «у».

— Основания? — переспросил он. — Нет, это просто типографская опечатка. Конечно, фамилия покойного пишется с «у» на конце — Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного ее написания.

— В таком случае, — пробормотал я, поворачиваясь, чтобы уйти, — в таком случае остается

только признать, что правда действительно бывает любого вымысла странней: ведь «Бедлоу» без «у» — это же фамилия «Олдеб», написанная наоборот! А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка!

Заживо погребенные[145]

Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величием истины. Так, например, мы содрогаемся от «сладостной боли», читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в таких описаниях волнует сама достоверность — сама подлинность — сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения.

Я перечислил лишь некоторые из знаменитейших и величайших исторических трагедий; но самая их огромность потрясает воображение ничуть не меньше, чем зловещая сущность. Мне нет нужды напоминать читателю, что из длин-

---

[145] Примечания: 145

© Перевод. В. Хинкис.

ного и мрачного перечня людских несчастий я мог бы извлечь немало отдельных свидетельств подлинного страдания, гораздо более жестоких, нежели любое из этих всеобщих бедствий. Воистину, настоящее горе, наивысшая боль всегда единственны, неповторимы. И коль скоро испить до дна эту горькую чашу приходится лишь человеку, а не человечеству — возблагодарим за это милосердного творца!

Погребение заживо, несомненно, чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случалось часто, очень часто. Грань, отделяющая Жизнь от Смерти, в лучшем случае обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Известно, что есть болезни, при которых исчезают все явные признаки жизни, но, строго говоря, они не исчезают совершенно, а лишь прерываются. Возникает временная остановка в работе неведомого механизма. Наступает срок, и некое незримое таинственное начало вновь приводит в движение волшебные крыла и магические колеса. Серебряная нить не оборвана навеки, и златой сосуд не разбит безвозвратно. Но где в эту пору обреталась душа?

Однако, кроме неизбежного заключения априори, что соответствующие причины влекут за собой соответствующие следствия, и поскольку известны случаи, когда жизнедеятельность прерывается, не подлежит сомнению, что людей иногда хоронят заживо, — кроме этого общего соображения, опыт медицины и самой жизни прямо свидетельствует, что это действительно бывало не раз. При необходимости я мог бы сослаться на целую сотню самых достоверных примеров. Один такой случай, весьма примечательный и, вероятно, еще не изгладившийся из памяти некоторых читателей, имел место не столь давно в соседнем городе Балтиморе и произвел на многих потрясающее, неотразимое впечатление. Супругу одного из самых почтенных граждан — известного юриста и члена конгресса — постигла внезапная и необъяснимая болезнь, перед которой оказалось бессильно все искусство медиков. После тяжких страданий наступила смерть или состояние, которое сочли смертью. Никто даже не подозревал, да и не имел причин подозревать, что она вовсе не умерла. Обнаружились все обычные признаки смерти. Лицо осунулось, черты его заострились. Губы стали белее мрамора. Глаза помутнели. Наступило

окоченение. Сердце не билось. Так она пролежала три дня, и за это время тело сделалось твердым, как камень. Одним словом, надо было поспешить с похоронами, поскольку труп, казалось, быстро разлагается.

Ее похоронили в семейном склепе, и три года никто не тревожил могильный покой. По прошествии этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг, — но увы! — какое страшное потрясение ожидало ее супруга, который своими руками отворил дверь! Едва створки распахнулись наружу, что-то закутанное в белое со стуком упало прямо в его объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

Тщательное расследование показало, что она ожила через два дня после погребения и билась в гробу, который упал на пол с уступа или с возвышения и раскололся, так что ей удалось встать. Случайно забытый масляный фонарь, налитый дополна, теперь оказался пуст; впрочем, масло могло улетучиться само по себе. На верхней ступени лестницы при входе в зловещую гробницу валялся большой обломок гроба, которым она, по всей видимости, колотила в железную дверь, призывая на помощь. При этом она, вероятно, лишилась чувств или умерла от страха; падая,

она зацепилась саваном за какой-то железный крюк, торчавший из стены. Так и осталась она на месте, так и истлела стоя.

В 1810 году во Франции был случай погребения заживо, который красноречиво свидетельствует, что подлинные события воистину бывают удивительней вымыслов сочинителей. Героиней этой истории стала мадемуазель Викторина Лафуркад, юная девица из знатного семейства, богатая и на редкость красивая. Среди ее многочисленных поклонников был Жульен Боссюэ, бедный парижский litterateur или журналист. Его таланты и обаяние пленили богатую наследницу, и она, кажется, полюбила его всем сердцем; но из сословного высокомерия она все же решилась отвергнуть его и отдать руку мосье Ренелю, банкиру и довольно известному дипломату. После свадьбы, однако, супруг тотчас к ней охладел и, вероятно, дурно с нею обращался. Прожив несколько лет в несчастном браке, она умерла — по крайней мере состояние ее было столь похоже на смерть, что ни у кого не возникло и тени сомнения. Ее похоронили — но не в склепе, а в обыкновенной могиле близ усадьбы, где она родилась. Влюбленный юноша, терзаемый отчаяньем и все еще волнуемый былой страстью,

отправляется из столицы в далекую провинцию с романтическим намерением вырыть тело и взять на память чудесные локоны покойной. Он разыскивает могилу. В полночь он откапывает гроб и принимается уже состригать локоны, как вдруг его возлюбленная открывает глаза. Как оказалось, она было похоронена заживо. Жизнь не вполне покинула несчастную; ласки влюбленного пробудили ее от летаргии, ошибочно принятой за смерть. Он поспешил перенести ее в свою комнату на постоялом дворе. Обладая немалыми познаниями в медицине, он применил самые сильные укрепляющие лекарства. Наконец она ожила. Она узнала своего спасителя. Она оставалась с ним до тех пор, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последний урок, преподанный любовью, смягчил его совершенно. Она отдала свое сердце Боссюэ. Она не вернулась к супругу, но, сохранив свое воскресение в тайне, уехала вместе с верным возлюбленным в Америку. Через двадцать лет оба вернулись во Францию, уверенные, что время достаточно изменило ее внешность и даже близкие ее не узнают. Однако они ошиблись; при первой же встрече мосье Ренель тотчас узнал супругу и потребовал, чтобы она к нему вернулась.

Она отвергла его притязания; и беспристрастный суд решил дело в ее пользу, постановив, что в силу особых обстоятельств, а также за давностью времени супружеские права утрачены не только по справедливости, но и по букве закона.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма уважаемый и заслуживающий доверия печатный орган, достойный того, чтобы кто-нибудь из американских издателей выпускал его в переводе на наш язык, — сообщает в последнем номере о подобном же прискорбном происшествии.

Один артиллерийский офицер, человек огромного роста и несокрушимого здоровья, был сброшен норовистой лошадью и сильно ушиб голову, от чего мгновенно лишился чувств; в черепе обнаружилась небольшая трещина, но врачи не видели прямой опасности для жизни. Трепанация черепа прошла успешно. Больному пустили кровь и пользовали его прочими обычными средствами. Но постепенно он впадал во все более глубокое оцепенение, и наконец, казалось, наступила смерть.

Стояла жара, и его похоронили поспешно до неприличия где-то на общем кладбище. Похороны были в четверг. В ближайшее воскресенье

многие, как обычно, пришли навестить могилы, и около полудня один крестьянин произвел сильное волнение, утверждая, что присел отдохнуть на могилу офицера и вдруг почувствовал сотрясение земли, словно покойник норовил встать из гроба. Поначалу его рассказу мало кто верил, но неподдельный ужас и твердая убежденность, с которыми он доказывал истинность своих слов, в конце концов возымели действие на толпу. Бросились за лопатами, в несколько минут раскопали могилу, такую мелкую, что стыдно было смотреть, и голова офицера предстала на свет. Казалось, он был мертв, но сидел скорчившись в гробу, крышку которого ему удалось приподнять отчаянным усилием.

Его тотчас отвезли в ближайшую больницу, где выяснилось, что он жив, хотя и лишился чувств от удушья. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и, путаясь в словах, рассказал о невыносимых страданиях, которые претерпел в могиле.

Судя по его рассказу, сознание теплилось в нем более часа после похорон, а затем он впал в беспамятство. Могила была наспех забросана рыхлой землей, так что оставался некоторый приток воздуха. Он услышал над головой топот множества

ног и попытался привлечь к себе внимание. Как он объяснил, шум на кладбище пробудил его от мертвого сна, но, едва очнувшись, он сразу понял всю безысходность своего положения.

Сообщают, что больной уже поправлялся и был на пути к полному выздоровлению, но по вине шарлатанов пал жертвой медицинского опыта. Они применили гальваническую батарею, и он скончался во время бурного приступа, вызванного, как это бывает, действием тока.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне вспомнился, кстати, широко известный и воистину поразительный случай, когда ее действие вернуло к жизни молодого лондонского стряпчего, два дня пролежавшего в могиле. Случай этот произошел в 1831 году и наделал в свое время немало шума.

Больной, мистер Эдвард Стэплтон, умер, по всей вероятности, от тифозной горячки с некоторыми странными симптомами, которые вызвали любопытство лечивших его врачей. После мнимой смерти врачи попросили у его близких согласия на посмертное вскрытие, но получили решительный отказ. Как это часто случается, они решили выкопать труп и тайно вскрыть его без помех. Не составляло труда сговориться с шайкой похити-

телей трупов, которых так много в Лондоне; и на третью ночь после похорон тело, которое считали мертвым, было вырыто из могилы глубиной в восемь футов и перенесено в секционную палату одной частной больницы.

Уже сделав изрядный надрез на животе, врачи обратили внимание на то, что тело ничуть не разложилось, и решили испробовать батарею. Опыт следовал за опытом без особого успеха, разве что в некоторых случаях судорожные подергивания более обычного походили на движения живого организма.

Время истекало. Близился рассвет, и наконец решено было безотлагательно приступить к вскрытию. Но один из врачей непременно желал проверить какую-то свою теорию и убедил всех подвергнуть действию тока одну из грудных мышц. Грубо рассекли кожный покров, кое-как присоединили проволоки; вдруг мертвец стремительным, но отнюдь не похожим на судорогу движением соскользнул со стола на пол, постоял немного, тревожно озираясь, и заговорил. Понять его слова не удалось; и все же это, безусловно, были слова, — некое подобие членораздельной речи. Умолкнув, он тяжело рухнул на пол.

Сначала все оцепенели от ужаса — но медлить

было нельзя, и врачи вскоре овладели собой. Оказалось, что мистер Стэплтон жив, хотя и в глубоком обмороке. С помощью эфира его привели в чувство, а через несколько времени он совсем поправился и мог вернуться к своим близким, от которых его воскресение скрывали до тех пор, пока не перестали опасаться повторного приступа. Их восторг, их радостное удивление нетрудно себе представить.

Но самое потрясающее во всей истории — это свидетельство самого мистера С. Он уверяет, что ни на миг не впадал в полное беспамятство, что смутно и туманно он сознавал все происходящее с той минуты, как врачи объявили его мертвым, и вплоть до того времени, когда он лишился чувств в больнице. «Я жив», — таковы были невнятные слова, которые он в отчаянье пытался вымолвить, поняв, что попал в мертвецкую.

Мне нетрудно было бы рассказать еще много подобных историй, но я полагаю это излишним — ведь и без того не остается сомнений, что людей в самом деле хоронят заживо. И если учесть, как редко, в силу своего характера, такие случаи становятся нам известны, мы вынуждены будем признать, что они, вероятно, часто происходят неведомо для нас. Право же, едва ли не всякий

раз, как землекопам случается работать на кладбище, скелеты обнаруживают в таких позах, что возникают самые ужасные подозрения.

Но как ни ужасны подозрения, несравненно ужасней участь самих несчастных! Можно с уверенностью сказать, что никакая иная судьба не уготовила человеку столь безвыходные телесные и душевные муки, как погребение заживо. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной Ночи, безмолвие, словно в пучине моря, незримое, но осязаемое присутствие Червя-Победителя — все это и вдобавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой, воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если бы только узнали о твоей беде, и уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов, — все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце ледяным и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на Земле — мы не в силах представить ничего подобного даже на дне Преисподней. Вполне понятно, что рассказы об этом вызывают глубочайший

интерес; однако ж интерес этот под влиянием благоговейного ужаса перед самой темой оправдывается исключительно нашим убеждением в истинности самих рассказов. То, что мне предстоит описать далее, я знаю доподлинно — все это я пережил и испытал на себе.

Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называют каталепсией, так как не находят для нее более точного определения. Хотя не только прямые и косвенные причины, но даже самый диагноз этой болезни остается загадкой, внешние симптомы изучены достаточно хорошо. Формы ее, видимо, отличаются друг от друга лишь своей тяжестью. Иногда больной лежит всего день или того меньше, погруженный в глубочайшую летаргию. Он теряет сознание и не может пошевелиться; но в груди прослушиваются слабые биения сердца; тело хранит едва ощутимую теплоту; на скулах еще заметны следы румянца; приложив к губам зеркало, можно обнаружить редкое, неровное, прерывистое дыхание. Иногда же оцепенение длится недели — и даже месяцы; при этом самое пристальное наблюдение, самые тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным

приступом и тем необратимым состоянием, которое называют смертью. От погребения заживо такого больного обычно спасают друзья, которые знают о его подверженности каталепсии и, естественно, начинают подозревать неладное, в особенности если нет признаков распада. По счастью, болезнь развивается постепенно. Первые же ее проявления, хоть и скрытые, не оставляют сомнений. С каждым разом приступы становятся все сильней и длительней. В этом главная гарантия от погребения. Несчастный, с которым сразу случится тяжелый припадок, как это порой бывает, почти неизбежно обречен заживо лечь в могилу.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь заметно от случаев, описанных в медицинской литературе. Иногда, безо всякой видимой причины, я мало-помалу впадал в полуобморок или в полубесчувствие; и в этом состоянии, не испытывая боли, утратив способность шевелиться и, в сущности, даже думать, но смутно сознавая в летаргическом сне, что я жив и меня окружают люди, я пребывал до тех пор, пока не наступал кризис, который внезапно возвращал меня к жизни. Иногда же недуг одолевал меня бурно и стремительно. Я чувствовал дурноту, скован-

ность, холод во всем теле, головокружение и падал замертво. После этого целые недели меня окружали пустота, мрак, безмолвие, и весь мир превращался в Ничто. Я погружался в полнейшее небытие. Но чем быстрей наступали такие припадки, тем медленней я приходил в себя. Подобно тому, как брезжит рассвет для одинокого, бесприютного нищего, который бродит по улицам в долгую и глухую зимнюю ночь, — так же запоздало, так же томительно, так же радостно возвращался ко мне свет Души.

Но помимо этой наклонности к оцепенению, в остальном здоровье мое не пошатнулось; чувствовал я себя вполне хорошо — если не считать болезненного расстройства обычного сна. Просыпаясь, я не вдруг приходил в себя и на время оказывался во власти самого нелепого смятения; в такие минуты все мои умственные способности, и в особенности память, отказывались мне служить.

Я не испытывал никаких телесных страданий, но душа моя изнывала от мук. Воображение рисовало мне темные склепы. Я без конца говорил «об эпитафиях, гробницах и червях». Я предавался бредням о смерти, и навязчивый страх перед погребением заживо терзал меня

неотступно. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем мне было невыносимо думать о ней; ночью же это превращалось в настоящую пытку. Когда грозный Мрак поглощал Землю, я трепетал при одной мысли об этом — трепетал, как легкие перья на катафалке. Когда же самое мое Естество изнемогало от бессонницы, я смыкал глаза лишь после долгой внутренней борьбы — так страшило меня предчувствие, что я проснусь в могиле. И едва я погружался в сон, меня тотчас обступал мир призраков, над которыми витал, распластав широкие, черные, чудовищные крыла, тот же вездесущий Дух смерти.

Кошмары, душившие меня во сне, были неисчислимы, но, здесь я упомяну лишь об одном видении. Мне приснилось, будто я впал в каталептическое состояние, которое было длительнее и глубже обычного. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и тревожный дрожащий голос шепнул мне на ухо: «Восстань!»

Я сел. Вокруг была непроглядная тьма. Я не мог видеть того, кто меня разбудил. Я не помнил ни времени, когда впал в оцепенение, ни места, где это случилось. Я не двигался и пробовал собраться с мыслями, а хладная рука меж тем

исступленно стиснула мое запястье, встряхивая меня в нетерпении, и дрожащий голос повторил:

— Восстань! Разве не повелел я тебе восстать от сна?

— Но кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, у меня нет имени, — печально отвечал голос. — Некогда я был смертным, ныне я дух. Некогда я был беспощаден, ныне я исполнен милосердия. Ты чувствуешь, я дрожу. Я взываю к тебе, а зубы мои стучат, но отнюдь не от хлада ночи — ночи, что пребудет во веки веков. Ибо мерзость сия мне противна. Как можешь ты безмятежно спать? Мне не дает покоя глас предсмертных мучений. Видеть это превыше моих сил. Восстань! Ступай за мной в бездну Ночи, и я разверзну пред тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Воззри!

Я вгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли, и каждая источала слабый фосфорический свет, порожденный тлением, так что взор мой проникал в сокровенные глубины и различал тела, закутанные в саваны, печально и торжественно опочившие среди могильных червей. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше

было других, не усопших навек; и происходили слабые борения; и отовсюду возносился безутешный ропот; и из глубин несчетных могил исходил унылый шелест погребальных покровов; и я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле. Я все смотрел, а голос шепнул снова:

— Это ли… Ах, это ли не юдоль скорби?

Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, хладная рука выпустила мое запястье, фосфорические огни погасли и земля сомкнулась над могилами, а оттуда вырвался все тот же отчаянный вопль:

— Это ли… О господи, это ли воистину не юдоль скорби?

Кошмары, отравлявшие мой сон по ночам, часто мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой неотступных страхов. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности каталепсии, из опасения, что со мной случится припадок и меня, не долго думая, предадут могиле. Я не доверил заботам и предан-

ности ближайших своих друзей. Я боялся, как бы во время затяжного приступа их не убедили в том, что меня невозможно вернуть к жизни. Мало того, я опасался, что доставляю им слишком много хлопот и при первом же длительном припадке они будут только рады избавиться от меня навсегда. Тщетно пытались они успокоить меня самыми торжественными заверениями. Я требовал священных клятв, что меня похоронят лишь после того, как явные признаки распада сделают дальнейшее промедление немыслимым. Но все равно, объятый смертным страхом, я был глух к гласу разума и не знал покоя. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный далеко в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет, а также удобные хранилища для пищи и воды, до которых можно было свободно дотянуться из уготованного для меня гроба. Самый гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой обивкой, и крышку его снабдили таким же приспособлением, что и двери склепа, с пружинами,

которые откидывали ее при малейшем движении тела. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но увы! Что толку в предусмотрительности пред волей Судьбы? Даже эти хитроумные устройства не могли избавить от адских мук погребения заживо несчастного, который был на них обречен!

Настал срок — как случалось уже не раз, — когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили первые, еще слабые и смутные проблески бытия. Медленно — черепашьим шагом — растекался в моей душе тусклый, серый рассвет. Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие… безнадежность… упадок сил. И вот долгое время спустя звон в ушах; вот, спустя еще дольше, покалывание или зуд в конечностях; вот целая вечность блаженного покоя, когда пробуждающиеся чувства воскрешают мысль; вот снова краткое небытие; вот внезапный возврат к сознанию. Наконец — легкая дрожь век — и тотчас же, словно электрический разряд, ужас, смертельный и необъяснимый, от которого кровь приливает к сердцу. Затем — первая сознательная попытка мыслить. Первая попыт-

ка вспомнить. Это удается с трудом. Но вот уже память настолько обрела прежнюю силу, что я начинаю понимать свое положение. Я понимаю, что не просто пробуждаюсь ото сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот наконец мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна зловещая Опасность — одна гробовая, всепоглощающая мысль.

Когда это чувство овладело мною, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня недоставало мужества шевельнуться. Я не смел сделать усилие, которое обнаружило бы мою судьбу, и все же некий внутренний голос шептал мне, что сомнений нет. Отчаянье, перед которым меркнут все прочие человеческие горести, — одно лишь отчаянье заставило меня, после долгих колебаний, приподнять тяжелые веки. И я приподнял их. Вокруг была тьма — кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что кризис моей болезни давно позади. Знал, что вполне обрел способность видеть, — и все же вокруг была тьма, кромешная тьма, сплошной и непроницаемый мрак Ночи, нескончаемой во веки веков.

Я попытался крикнуть; мои губы и запекшийся язык дрогнули в судорожном усилии, но я не

исторг ни звука из своих бессильных легких, которые изнемогали, словно на них навалилась огромная гора, и трепетали, вторя содроганиям сердца, при каждом тяжком и мучительном вздохе.

Когда я попробовал крикнуть, оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувствовал под собою жесткое ложе; и нечто жесткое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуть ни единым членом, но теперь я в отчаяньи вскинул кверху руки, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались надо мною в каких-нибудь шести дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу.

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда — я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и отчаянье, еще неумолимее прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую

я так заботливо приготовил, и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное. Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей, когда и как, я не мог вспомнить; и эти люди похоронили меня, как собаку, заколотили в самом обыкновенном гробу, глубоко закопали на веки вечные в простой, безвестной могиле.

Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть; и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи.

— Эй! Эй, в чем дело? — отозвался грубый голос.

— Что еще за чертовщина! — сказал другой голос.

— Вылазь! — сказал третий.

— С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку? — сказал четвертый; тут ко мне скопом подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. Они не разбудили меня — я уже проснулся, когда крикнул, — но после встряски память вернулась ко мне окончательно.

Дело было неподалеку от Ричмонда, в Вирги-

нии. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и мы прошли несколько миль вниз по Джеймс-Ривер. Поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре с грузом перегноя, предназначенного на удобрение. За неимением лучшего нам пришлось заночевать на борту. Я лег на одну из двух коек — можете себе представить, что за койки на шлюпе грузоподъемностью в шестьдесят или семьдесят тонн. На моей койке не было даже подстилки. Ширина ее не превышала восемнадцати дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство. Тем не менее спал я крепко, и все, что мне привиделось — ведь это не было просто кошмарным сном, — легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, как уже было сказано, просыпаясь, не мог сразу прийти в себя и подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного колпака.

И все же в ту ночь я пережил такие страдания,

словно меня в самом деле похоронили заживо. Это была ужасная, немыслимая пытка; но нет худа без добра, и сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел душевную силу — обрел равновесие. Я уехал за границу. Я усердно занимался спортом. Я дышал вольным воздухом под сводом Небес. Я и думать забыл о смерти. Я выкинул вон медицинские книги. Бьюкена я сжег. Я бросил читать «Ночные мысли» — всякие кладбищенские страсти, жуткие истории, вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой, а с ними и от каталепсии, которая была скорее их следствием, нежели причиной.

Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору Разума печальное Бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы! Зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом; но подобные демонам, которые сопутствовали Афрасиабу в его плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас, — а мы не должны посягать на их сон, иначе нам не

миновать погибели.

Месмерическое откровение[146]

Как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать месмеризму *научное* объяснение, поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Упорствуют лишь записные скептики, не верящие ни во что просто из принципа, — народ никчемный и доброго слова не стоящий. Теперь мы бы стали ломиться в открытые двери, принявшись *доказывать*, что человек способен, воздействуя на партнера только усилием воли, привести того в патологическое состояние, необычность которого в том, что оно по своим признакам очень близко напоминает *смерть*, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека; что, когда человек находится в подобном состоянии, органы чувств почти теряют восприимчивость; но зато по каналам, пока неизвестным, он воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств не доступные; более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и оза-

---

[146] Примечания: 146

© Перевод. В. Неделин.

ренность; между ним и внушающим ему свою волю устанавливается глубочайшее взаимопонимание, и, наконец, восприимчивость человека к подобному внушению растет в прямой зависимости от частоты и регулярности повторения сеансов, одновременно с чем и поразительные явления, сопровождающие их, *обнаруживают себя* все полней и отчетливей.

Все эти положения, повторяю, суть общие прописи месмеризма, так что и нет нужды докучать ими читателям. Цель у нас совершенно иная. Я решил, чего бы это мне ни стоило и назло всем злопыхателям и маловерам, просто изложить поподробней и без всяких комментариев в высшей степени примечательное содержание моей беседы с человеком, бодрствующим во сне.

Я долгое время пользовал с помощью месмерического воздействия человека, о котором в дальнейшем пойдет речь (мистера Вэнкерка), и резкое усиление внушаемости, а также повышенная месмерическая восприимчивость уже, как и положено, были достигнуты. Много месяцев подряд он боролся с чахоткой, открытый процесс протекал мучительно, и мне удалось посредством ряда манипуляций несколько облегчить его страдания, и вот в ночь со среды на четверг

пятнадцатого числа текущего месяца меня позвали к его одру.

Больного мучили острые боли в области сердца, он еле дышал, налицо были все признаки астмы. Как правило, ему при этих спазмах приносили облегчение горчичники, прикладывавшиеся к нервным центрам, но на этот раз, сколько их ни прикладывали, они никакого действия не оказывали.

Когда я вошел, он поздоровался с приветливой улыбкой; несмотря на страдания, он, казалось, был бодр и ясен духом.

— Сегодня я послал за вами, — сказал он, — не за тем, чтобы вы избавили меня от страданий, — я хочу, чтобы вы удовлетворили мое любопытство по поводу некоторых ощущений, поразивших меня в прошлый раз, которые чрезвычайно заинтересовали меня и озадачили. Вы помните, как недоверчиво относился я до сих пор к вопросу о бессмертии души. Не могу отрицать, что где-то, и, похоже, как раз в той самой душе, существования которой я не признавал, всегда жила смутная догадка о ее бытии. Но в уверенность она никак не превращалась. И тут я просто терялся. Вполне понятно, что все попытки разобраться логически лишь укрепляли мое недоверие. Мне посовето-

вали обратиться к Кузену. Я изучал его взгляды и по его собственным трудам, и по книгам его европейских и американских последователей. Мне, например, достали «Чарлза Элвуда» мистера Браунсона. Я читал эту книгу особенно вдумчиво. В целом она показалась мне логичной, но, к сожалению, элементарной логики явно недостает именно тем ее частям, в которых обосновывается неверие ее героя. В итоге, — что, как мне кажется, просто бросается в глаза, — ему, при всем его уме, не удается убедить даже самого себя. В конце он, подобно правительству Тринкуло, уже просто не помнит, о чем шла речь сначала. Короче говоря, я довольно скоро понял, что если человека и можно убедить в его бессмертии, то одними лишь чисто умозрительными теориями, которые испокон веков в таком почете у моралистов Англии, Франции, Германии, тут не обойтись. Умозрения, пожалуй, и занятны, и по-своему небесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое. Я пришел к выводу, что так уж все мы, видно, устроены, и философия так никогда и не приучит нас рассматривать качества как нечто предметное само по себе. Мы, может быть, и рады бы, но ни ум, ни чувства не приемлют этого.

Так вот, повторяю, я смутно чувствовал в себе

душу, хоть разумом — не верил. Но в последнее время это чувство во мне заметно углубилось, разум же настолько далеко пошел ему навстречу, что сейчас я уже затрудняюсь определить, где кончается одно и где начинается другое. Притом же оказалось нетрудно убедиться, что это положение — результат месмерического воздействия. Объяснить свою мысль яснее я мог бы, только высказав предположение, что месмерическое озарение позволяет мне схватывать самый ход рассуждений, который, пока я нахожусь в этом необычном состоянии, я могу проследить, но который — такова сама месмерическая феноменальность подобного состояния — становится недоступен моему пониманию в нормальных условиях, тогда в сознании остаются лишь *результаты* этих рассуждений. Бодрствующему во сне рассуждения и вывод — то есть причина и конечный результат — даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается — да и то, пожалуй, лишь частично — один результат.

— Эти соображения навели меня на мысль, что если, когда я буду усыплен, мне задать поискусней ряд наводящих вопросов, то из этого, пожалуй, вышел бы толк. Вы часто наблюдали,

на какое глубокое самопостижение способен бодрствующий во сне — удивительную осведомленность, которую он обнаруживает по части особенностей месмерического транса; на эту его способность к углублению в себя лучше всего и ориентироваться, чтобы составить подобный катехизис по всем правилам.

Я, разумеется, согласился на предложенный эксперимент. Несколько пассов погрузили мистера Вэнкерка в месмерический сон. Он сразу же задышал легче, и казалось, все его муки тут же как рукой сняло. Разговор принял вот какой оборот: *В.* в нашем диалоге — это больной, *П.* — я сам.

П. Вы спите?

В. Да — нет; я предпочел бы заснуть покрепче.

П. (проделав еще ряд пассов). А теперь?

В. Теперь да.

П. Что вы думаете об исходе вашей теперешней болезни?

В. (после долгих колебаний, говорит словно через силу). Только смерть.

П. Печалит ли вас мысль о смерти?

В. (не задумываясь). Нет-нет!

П. Разве подобная перспектива прельщает вас?

В. Если бы я бодрствовал, мне хотелось бы умереть, а сейчас мне все равно. Месмерическое

состояние настолько близко к смерти, что мне хорошо и так.

П. Будьте добры, объяснитесь, мистер Вэнкерк.

В. Я бы рад, но боюсь, мне эта задача не по плечу. Вы задаете не те вопросы.

П. Как же тогда мне вас спрашивать?

В. Вы должны начать с самого начала.

П. С начала! Но где оно, это начало?

В. Вы же знаете, что начало есть бог. *(Сказано это было глухим, прерывистым голосом и, судя по всему,* с глубочайшим благоговением.)

П. Так что же такое бог?

В. (несколько минут остается в нерешимости). Я не знаю, как это объяснить.

П. Разве бог — не дух?

В. В бытность свою наяву я знал, что вы понимаете под словом «дух», но теперь оно для меня — слово и больше ничего… Такое же, к примеру, как истина, красота — то есть обозначение какого-то качества.

П. Но ведь бог нематериален?

В. Нематериальности не существует. Это просто слово. То, что нематериально, не существует вообще, если только не отождествлять предметы с их свойствами.

П. А бог, стало быть, материален?

В. Нет. *(Этот ответ просто ошеломил меня.)*

П. Так что же он в таком случае?

В. (после долгого молчания, бессвязно). Я представляю себе, но словами это передать трудно. *(Снова долгое молчание.)* Он не дух, ибо он — сущий. И вместе с тем он и не материален *в вашем понимании*. Но есть также те *ступени* превращений материи, о которых человеку ничего не известно; более простые и примитивные пробуждают более тонкие и изощренные, более изощренные пронизывают собою более простые. Атмосфера, например, возбуждает электричество, а электричество насыщает собой атмосферу. Градации материи восходят все выше, по мере утраты ею плотности и компактности, пока мы не добираемся до материи, *уже совершенно лишенной предметности* — нерасторгаемой и единой; и здесь закон, побуждающий к действию силы и проникновения, преображается. Эта первоматерия, или нерасторжимая материя, не только проникает собой все сущее, но и побудительная причина всего сущего и, таким образом, сама в себе и есть все сущее. Эта материя и есть бог. И то, что люди силятся воплотить в слове «мысль», есть эта материя в движении.

П. Метафизики утверждают, что всякое деяние

сводится к движению и мысли, и что вторая является прообразом первого.

В. Да, утверждают; и мне теперь ясно, в чем здесь заблуждение. Движение — это действие духа, а не *мысли*. Нерасторжимая материя, или бог, в покое и есть (насколько мы можем приблизиться к пониманию этого) то, что люди называют духом. А сила самопобуждаемого движения (по своему конечному результату эквивалентного человеческой воле) в нерасторжимой материи является результатом ее неделимости и вездесущности — как это происходит, я не знаю и теперь ясно понимаю, что никогда уже и не узнаю. Но нерасторжимая материя, приведенная в действие законом или свойством, заключенным в ней самой, и есть мысль.

П. Не можете ли вы уточнить понятие, которое вы называете «нерасторжимой материей»?

В. Известные людям вещества, по мере восхождения материи на более высокие ступени, становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светоносный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим

определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом — со светоносным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то, хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности — и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светоносного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотней эфира, насколько эфир бесплотней металла, — и мы наконец приблизимся (вопреки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде, — к нерасторжимой материи. Потому что, хотя мы и примиряемся с бесконечной малостью самих

атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом. Ибо тогда непременно возникло бы какое-то критическое состояние, какая-то степень разреженности, когда, если атомы достаточно многочисленны, промежуточное пространство между ними должно было бы совершенно исчезнуть и вся их масса — абсолютно уплотниться. Ну, а поскольку само понятие об атомистической структуре в данном случае исключается, природа этой массы неизбежно сводится теперь к нашему представлению о духе. Совершенно очевидно, однако, что наше вещество по-прежнему остается материей. По правде говоря, мы ведь не можем уяснить себе, что такое дух, поскольку не в состоянии представить себе то, чего не существует. И обольщаемся мыслью, будто составили себе о нем какое-то понятие потому только, что обманываем себя представлением о нем как о бесконечно разреженном веществе.

П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, — сопро-

тивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в *каких-то* размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже ньютоново всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.

В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир *или эфир сквозь звезду*. И самое странное заблуждение в астрономии — это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое

в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором — оно накапливается нескончаемо.

П. Но разве во всем этом — в вашем отождествлении простейшей материи с богом — нет некоторого непочтения? *(Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.)*

В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый «дух», «душа», о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют «материей». Бог и все способности, приписываемые «духу», — это всего лишь совершеннейшее состояние материи.

П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.

В. В общем это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что

сотворено, — это не более как мысль бога.

П. Вы говорите — «в общем».

В. Да. Вездесущий дух — это бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима материя.

П. Но вы говорите сейчас о «духе» и «материи» точь-в-точь как метафизики.

В. Да — во избежание путаницы. Когда я говорю «дух», то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под «материей» предполагается все остальное.

П. Вы говорили о том, что «для каждого нового отдельного бытия необходима материя».

В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, — только бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы духа божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто богом. Ну, а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи — это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение — мысль божия.

П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет богом?

В. (после мучительных колебаний). Я не мог так сказать, это абсурд.

П. (справляется по своей записи). Вы сказали, что «без воплощения в телесную оболочку человек был бы богом».

В. И воистину. Таким образом, человек *стал бы* богом — избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда *такого с ним не бывает*; иначе нам пришлось бы представить себе деяние божие обращающимся вспять на самого бога — бесцельным и бессмысленным. Человек — творение. Творения — суть мысли божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.

П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано вовеки совлечь с себя телесную оболочку?

В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.

П. Поясните.

В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная — соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом «смерть», — всего лишь мучительное преображение. Наше нынешнее воплощение преходяще, предварительно, временно. А грядущее — совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.

П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.

В. Нам — безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или, точнее, наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И таким образом конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.

П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?

В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; потому что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который

будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.

П. Нет упорядоченности?

В. Да, ведь органы — это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим — не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного претворения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, что же оно такое. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву. Нерв сообщает их мозгу; мозг — нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие

этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органов. А в предстоящей, не регламентированной органикой жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светоносный эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой материи. Именно отсутствие локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств — клетки, в которых их держат, пока не оперятся.

П. Вы говорите о рудиментарных «существах». Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?

В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бессчетных рудиментарных существ. Все эти тела необходимы для рудимен-

тарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем, свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих существ. Когда же наступает смерть, или — метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме *одной*, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама инстинносущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.

П. Вот вы говорите, что «если бы не их *необходимость* для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало». Но откуда берется эта необходимость?

В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких

препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона — божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).

П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?

В. Результатом подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий. Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, неправедность и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.

П. А какая благая цель при этом достигается?

В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение — фик-

ция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немыслимо, отсюда — необходимость органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.

П. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: «*истинносущностная* безмерность бесконечности».

В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие *«сущность»* является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: у мыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для ангелов, — вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом «пространства», для них — вещественнейшая реальность, и в то же время звезды — именно в силу того, что мы

считаем доказательством их материальности, — оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя — в силу тех своих свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, — не поддается восприятию органической.

В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обращался ко мне уже из царства теней?

Продолговатый ящик[147]

Несколько лет тому назад, направляясь в Нью-Йорк из Чарлстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», которым командовал капитан Харди. Отплытие — если не воспрепятствует погода — было назначено на пятнадцатое число текущего месяца (июня), и четырнадцатого я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей.

На пакетботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в Ш-ском университете, где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости. К этим качествам следует

---

[147] Примечания: 147

© Перевод. И. Гурова.

добавить еще самое горячее и верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки — одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек, но тем не менее я не понимал, почему этим четырем людям понадобились три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытстве ко всяким пустякам, и со стыдом сознаюсь, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось, однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каюты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. «Конечно же, с ними едет горничная! — сказал я себе. — Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу!» Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги,

хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова «с горничной». «О, все дело, без сомнения, в лишнем багаже! — сказал я себе. — Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя… А, понимаю! Какая-нибудь картина… Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем!» Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство.

Сестер Уайета, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я посетил пакетбот, то есть четырнадцатого, там собирался побывать и Уайет с супругой и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще час, в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями: «Миссис У. нездоровится, а потому она прибудет на пакетбот только завтра перед самым отплы-

тием».

На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что «ввиду некоторых обстоятельств» (глупая, но удобная ссылка) «Индепенденс», вероятно, задержится в порту еще на день-два и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз, но поскольку капитан не объяснил, в чем заключались эти «обстоятельства», хотя я настойчиво выспрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства.

Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана, но наконец оно пришло, и я немедленно отправился на пакетбот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царила обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры, новобрачная и сам художник поднялись на корабль, и я заметил, что последний был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот

долг вежливости пришлось его сестре Мэриен, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов.

Лицо миссис Уайет было скрыто густой вуалью, и когда она в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженные описания моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота.

Дело в том, что миссис Уайет показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее преходящими чарами ума и души. Сказав мне лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом.

Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было — в этом я убедился собственными глазами. Оставалось по-

дождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком — по-видимому, пакетбот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море.

Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину — я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается не часто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга художника должен был состоять из картин или, по крайней мере, из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на пакетбот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместилищем для копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию «Тайной вечери», сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей прони-

цательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайет не имел от меня секретов во всем, что казалось его профессии, но теперь по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно, с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его.

Одно обстоятельство тем не менее весьма меня раздосадовало: ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене, тем более что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись не то смолой, не то краской, которая пахла очень сильно и дурно — мне этот запах показался отвратительным. Надпись на крышке гласила: «Миссис Аделаиде Кертис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета, эсквайра. Верх. Обращаться с осторожностью».

Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани, — это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомневался в том, что

крайней точкой, которой достигнет ящик на своем пути на север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня нашего плаванья погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым — он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайет и его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержанны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайета меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного — можно даже сказать, угрюм, — но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их ни уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу.

Миссис Уайет держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия — весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению,

чрезвычайно охотно кокетничала с мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово «развлекала», не зная, как выразить мою мысль точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У., чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее «добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и, бесспорно, вульгарной». И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство — таков был всеобщий приговор; но я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайет сказал мне, что она не принесла ему в приданое ни доллара и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился «по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви». Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешался? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного! Правда, сама дама,

по-видимому, питала к нему нежнейшую привязанность — это становилось особенно заметно в его отсутствие, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил «ее возлюбленный муж, мистер Уайет». Слово «муж» — если прибегнуть к одному из ее собственных изящных выражений — казалось, «все время вертелось у нее на языке». Тем не менее все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно.

То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, под влиянием слепого увлечения связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже него, и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку «Тайной вечери». За это я решил с ним поквитаться.

Однажды он вышел на палубу, и я, по своему обыкновению взяв его под руку, начал прогули-

ваться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась (что я счел при таких обстоятельствах вполне извинительным). Он почти все время молчал, а если и говорил, то угрюмо, с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец я приступил к исполнению моего плана: я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик — лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной батареи, сказав что-то о «своеобразной форме этого ящика». Свои слова я сопроводил многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра.

То, как Уайет воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедило меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того, как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше вылезали из орбит. Затем он побагровел, затем страшно побледнел, а затем, словно

мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и исступленнее более десяти минут. В заключение он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв.

Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забормотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совсем оправился — то есть телесно. О его рассудке я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на пакетботе ничего об этом не говорить.

После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распаляться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе следует упомянуть следующее: я был в нервическом состоянии — пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также

столовой, — туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно кренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оставалась открытой — никто не брал на себя труд вставать с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта (из-за жары же она бывала открыта постоянно), я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи (не следовавшие одна за другой), когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов и в ту и в другую ночь миссис У. крадучись выходила из каюты мистера У. и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным. Они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о

формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась.

Было и еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук.

Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, и когда снимал ее, и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял по тихому постукиванию крышки о деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина, и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал; правда, порой мне чудилось,

что там раздаются почти беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, они не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайет в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Но с какой стати он начал бы над ней рыдать? А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайет вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материей молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайет из третьей каюты.

Наше плаванье продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверзе мыса Гаттерас, когда с юго-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже

некоторое время угрожающе портилась. Люки были задраены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того как ветер крепчал, мы убирали паруса и несли теперь только контрбизань и фор-марсель, взяв на них по два рифа.

Мы шли таким образом двое суток — наш пакетбот во многих отношениях показал себя отличным мореходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбуз и почти весь левый фальшборт. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор-марсель, но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед.

Однако ураган не стихал и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты и все время испытывали излишнее напряжение — в результате на третий день около пяти часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань-мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно

пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке, а затем на корму явился плотник и доложил, что вода в трюме поднялась на четыре фута. В довершение всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают.

Теперь на судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, а вода в трюме стремительно прибывала.

На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись, и нас озарили лучи полной луны, — эта нежданная удача немало нас подбодрила.

Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить на воду вельбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вельбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Окракок-Инлет.

На борту пакетбота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайет и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой-негром.

Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайет вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от пакетбота на несколько саженей, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к пакетботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайет, — сурово сказал капитан. — Вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно. Ведь шлюпка и так погружена в

воду по самый планшир.

— Ящик! — воскликнул мистер Уайет, продолжая стоять. — Я говорю о ящике! Капитан Харди, вы не можете… вы не посмеете мне отказать. Его вес… это же пустяк, сущая безделица. Матерью, родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас — вернитесь за ящиком!

Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение, и он ответил только:

— Мистер Уайет, вы безумны! Я не буду вас слушать. Сядьте же, или вы утопите шлюпку. Погодите… Хватайте его!.. Держите!.. Он хочет прыгнуть за борт! Ну вот… я предвидел это… он бросился в море!

И действительно, мистер Уайет кинулся в волны, и, так как мы были еще совсем рядом с пакетботом, заслонявшим нас от ветра, ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту.

Тем временем нас отнесло за корму судна, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших

волн. Мы попытались вернуться к пакетботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела. И мы поняли, что злополучный художник обречен.

От разбитого пакетбота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец (ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка) поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные удивлением, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их.

Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его:

— Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение.

— Они и должны были пойти ко дну, — ответил капитан. — Как камень. Впрочем, они вскоре

вновь всплывут — однако не прежде чем растворится соль.

— Соль?! — воскликнул я.

— Шшш, — сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного. — Мы поговорим об этом после, в более подходящее время.

Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только вельботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы, еле живые, причалили после четырех дней тяжких испытаний к песчаному берегу напротив острова Роанок. Там мы провели неделю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и в конце концов нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк.

Примерно через месяц после гибели «Индепенденса» я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайета. Тогда-то я и узнал следующие подробности.

Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной

женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, когда я в первый раз приехал на пакетбот) она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвезти тело своей обожаемой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником.

Чтобы выйти из этого затруднения, капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайет собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту, первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайет оставил за собой, а лжежена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она

в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую — как они позаботились выяснить заранее — никто из пассажиров не знал в лицо.

В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как ни ворочаюсь я с боку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо. И в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот.

Лось

(Утро на Виссахиконе)[148]

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем, и в частностях, пейзажам Старого Света — особенно Европы; причем и та, и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают наше северное и восточное побережье за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают — ибо еще меньше знают — великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения самых смелых видений рая. Эти путешественники по

---

[148] Примечания: 148

© Перевод. З. Александрова.

большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, реки Огайо, прерий и Миссисипи. Все это, разумеется, весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,
Лазурная, подобная стреле.

Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться; и я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти не исследованные места, которые подлинный художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших путешественников — и тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить

свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, — все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не пароходом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом, но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, — иначе он не увидит

подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны.

В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий — по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более

интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон — ручей (ибо рекой его, пожалуй, не назовешь), впадающий в реку Скул-кил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что, если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А между тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, хотя более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится как одна из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега — по крайней мере в окрестностях Филадельфии — болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того, как Фанни Кембл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. «Дневник»

открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторая», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья — по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж-Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил или мне следовало бы сказать, что речка эта — узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется *Liriodendron Tulipiferum*[149]. Она струится между

---

[149] Примечания: 149
Тюльпанное дерево (лат.).

берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой, — самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкая лощина, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней — того «доброго старого времени», когда еще не было

Демона Машин, когда пикники были неведомы, «водные угодья» не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, показался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в ручей и гораздо более напоминавший пейзажи Сальватора, чем все, только что прошедшее перед моими глазами. То, что я увидел на этом утесе, хотя и было весьма необычно в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило — настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва, (или это мне пригрезилось?), вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное любопытство, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились вместе с краснокожими.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние

годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я приподнялся на одно колено, но, пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстрое и осторожное:

«т-сс!», «т-сс!». Мгновение спустя из чащи, осторожно раздвигая ветви и стараясь ступать бесшумно, появился негр. На ладони у него была соль и, протягивая ее лосю, он приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился и дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.

Тысяча вторая сказка Шехерезады[150]

«Правда всякой выдумки странней».

Старая пословица

Когда мне недавно представился случай, занимаясь одним ориенталистским исследованием, заглянуть в «Таклинетли» — сочинение, почти неизвестное даже в Европе (подобно «Зохару» Симона Иохаидеса), и, насколько я знаю, не цитированное ни одним американским ученым, исключая, кажется, автора «Достопримечательностей американской литературы» — итак, когда мне представился случай перелистать некоторые страницы первого, весьма любопытного сочинения, я был немало удивлен, обнаружив, что литературный мир доныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в «Арабских ночах», и что приведенная там dénouement[151] не то чтобы совсем неверна, но далеко не доведена до конца.

---

[150] Примечания: 150

© Перевод. З. Александрова.

[151] Примечания: 151

Развязка (франц.).

Любознательного читателя, интересующегося подробностями этой увлекательной темы, я вынужден отослать к самому «Таклинетли», а пока позволю себе вкратце изложить то, что я там прочел.

Как мы помним, согласно общепринятой версии сказок, некий царь, имея серьезные основания приревновать свою царицу, не только казнит ее, но клянется своей бородой и пророком ежедневно брать в жены красивейшую девушку своей страны, а на следующее утро отдавать ее в руки палача.

После того как царь уже много лет выполнял этот обет с набожностью и аккуратностью, снискавшими ему репутацию человека праведного и разумного, его посетил как-то под вечер (несомненно, в час молитвы) великий визирь, чьей дочери пришла в голову некая мысль.

Ее звали Шехерезадой, а мысль состояла в том, чтобы избавить страну от разорительного налога на красоту или погибнуть при этой попытке по примеру всех героинь.

Вот почему, хотя год, как оказалось, не был високосным (что сделало бы ее жертву еще похвальнее), она посылает своего отца, великого визиря, предложить царю ее руку. Это предло-

жение царь спешит принять (он и сам имел подобное намерение и откладывал его со дня на день только из страха перед визирем), но при этом очень ясно дает понять всем участникам дела, что визирь визирем, а он, царь, отнюдь не намерен отступать от своего обета или поступаться своими привилегиями. Поэтому, когда прекрасная Шехерезада пожелала выйти за царя и вышла-таки, наперекор благоразумному совету отца не делать ничего подобного, — когда она, повторяю, захотела выйти замуж и вышла, то ее прекрасные черные глаза были открыты на все последствия такого поступка.

Однако у этой мудрой девицы (несомненно, читавшей Макиавелли) имелся весьма остроумный план. В брачную ночь, не помню уж под каким благовидным предлогом, она устроила так, что ее сестра заняла ложе в достаточной близости от ложа царственных супругов, чтобы можно было без труда переговариваться; и незадолго до первых петухов сумела разбудить доброго государя, своего супруга (который относился к ней ничуть не хуже из-за того, что наутро намеревался ее удавить), итак, она сумела (хотя он благодаря чистой совести и исправному пищеварению спал весьма крепко) разбудить его, рассказывая сестре

(разумеется, вполголоса) захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошке). Когда занялась заря, оказалось, что рассказ не вполне окончен, а Шехерезада, натурально, не может его окончить, ибо ей пора вставать и быть удавленной — процедура едва ли более приятная, чем повешение, хотя и несколько более благородная.

Здесь я вынужден с сожалением отметить, что любопытство царя взяло верх даже над его религиозными принципами и заставило его на сей раз отложить до следующего утра исполнение обета, с целью и надеждой услышать ночью, что же сталось наконец с крысой и черной кошкой (кажется, именно черной).

Однако ночью леди Шехерезада не только покончила с черной кошкой и крысой (крыса была голубая), но как-то незаметно для себя пустилась рассказывать запутанную историю (если не ошибаюсь) о розовом коне (с зелеными крыльями), который скакал во весь опор, будучи заведен синим ключом. Эта повесть заинтересовала царя еще больше, чем первая, а поскольку к рассвету она не была окончена (несмотря на все старания царицы быть удавленной вовремя), пришлось еще раз отложить эту церемонию на сутки. Нечто

подобное повторилось и в следующую ночь с тем же результатом; а затем еще и еще раз, так что в конце концов наш славный царь, лишенный возможности выполнять свой обет в течение целых тысячи и одной ночи, либо забыл о нем к тому времени, либо снял его с себя по всем правилам, либо (что всего вероятнее) послал его к черту, а заодно и своего духовника. Во всяком случае, Шехерезада, происходившая по прямой линии от Евы и, должно быть, помнившая по наследству все семь корзин россказней, которые эта последняя, как известно, собрала под деревьями райского сада. — Шехерезада, говорю я, одержала победу, и подать на красоту была отменена.

Такая развязка (а именно она приведена в общеизвестном источнике) несомненно весьма приятна и прилична — но увы! — подобно очень многим приятным вещам скорее приятна, чем правдива; возможности исправить ошибку я всецело обязан «Таклинетли». «Le mieux, — гласит французская пословица, — est l'ennemi du bien»[152]; и, сказав, что Шехерезада унаследовала семь корзин болтовни, мне следовало добавить, что она отдала их в рост, и их стало семьдесят

---

[152] Примечания: 152
Лучшее — враг хорошего (франц.).

семь.

— Милая сестрица, — сказала она в ночь тысяча вторую (здесь я verbatim[153] цитирую «Таклинетли»), — милая сестрица, — сказала она, — теперь, когда улажен неприятный вопрос с петлей, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я чувствую за собой вину, ибо утаила от тебя и царя (который, к сожалению, храпит, чего не позволил бы себе ни один джентльмен) окончание истории Синдбада-морехода. Этот человек испытал еще множество других, более интересных приключений, кроме тех, о каких я поведала; но мне, по правде сказать, в ту ночь очень хотелось спать, и я поддалась искушению их сократить — весьма дурной поступок, который да простит мне Аллах. Но исправить мое упущение не поздно и сейчас; вот только ущипну пару раз царя и разбужу его хоть настолько, чтобы он прекратил этот ужасный храп, а тогда расскажу тебе (и ему, если ему будет угодно) продолжение этой весьма замечательной повести.

Сестра Шехерезады, по свидетельству «Таклинетли», не выказала при этих словах особого восторга; но царь после должного числа щип-

---

[153] Примечания: 153
Дословно (лат.).

ков перестал храпеть и произнес: «Гм!», а затем «х-хо!»;

И тогда царица, поняв эти слова (несомненно, арабские) в том смысле, что он — весь внимание и постарается больше не храпеть, — царица, повторяю, уладив все это к своему удовольствию, тотчас же принялась досказывать историю Синдбада-морехода.

— Под старость (таковы были слова Синдбада, переданные Шехерезадой), под старость, много лет проживши дома на покое, я вновь ощутил желание повидать чужие страны; однажды, не предупредив о своем намерении никого из домашних, я увязал в тюки кое-какие товары из тех, что подороже, а места занимают мало, и наняв для них носильщика, отправился вместе с ним на берег моря, чтобы дождаться там какого-нибудь корабля, который доставил бы меня в края, где мне еще не удалось побывать.

Сложивши тюки на песок, мы сели в тени деревьев и стали глядеть на море, надеясь увидеть корабль, но в течение нескольких часов ничего не было видно. Наконец мне послышалось странное жужжание или гудение; носильщик, прислушавшись, подтвердил, что он также его слышит. Оно становилось все громче, и у нас не

было сомнения, что издававший его предмет приближается к нам. Наконец мы увидели на горизонте темное пятнышко, которое быстро росло и скоро оказалось огромным чудищем, плывшим по морю, выставляя на поверхность большую часть туловища. Оно приближалось с невиданной быстротой, вздымая грудью пенные волны и освещая море далеко тянувшейся огненной полосой.

Когда оно приблизилось, мы смогли ясно его разглядеть. Длина его равнялась трем величайшим деревьям, а ширина была не меньше, чем у большой залы твоего дворца, о величайший и великодушнейший из калифов. Тело его, не похожее на тело обычных рыб, было твердым, как скала, и совершенно черным в той части, что виднелась над водою, не считая узкой кроваво-красной полосы, которой оно было опоясано. Брюхо его, скрытое под водой и видное лишь по временам, когда чудище подымалось на волнах, было сплошь покрыто металлической чешуей, а цветом напоминало луну в тумане. Спина была плоской и почти белой, и из нее торчало шесть шипов длиною едва ли не в половину туловища.

Это ужасное существо, по-видимому, не имело рта; но словно в возмещение этого недостатка бы-

ло снабжено, по крайней мере, восемьюдесятью глазами, вылезавшими из орбит, как у зеленых стрекоз, и расположенными вокруг всего тела в два ряда, один над другим, параллельно красной полосе, которая, видимо, заменяла брови. Два или три из этих страшных глаз были гораздо больше остальных и казались сделанными из чистого золота.

Хотя чудовище, как я уже сказал, приближалось к нам с огромной скоростью, оно, несомненно, двигалось с помощью волшебства — ибо не имело ни плавников, как рыба, ни перепончатых лап, как у утки, ни крыльев, как у раковины-кораблика, подгоняемой ветром; но и не извивалось, как это делает угорь. Голова и хвост были у него совершенно одинаковой формы; но возле этого последнего имелись два небольших отверстия, служивших ноздрями, через которые чудовище выдыхало с большой силой и неприятным пронзительным звуком.

Наш ужас при виде отвратительного создания был велик; но еще большим было наше изумление, когда, всмотревшись в него вблизи, мы заметили на его спине множество тварей, величиной и обличием похожих на людей, только вместо одежды, подобающей людям, облаченных

(вероятно, от природы) в уродливые и неудобные оболочки, с виду матерчатые, но прилегающие так плотно к коже, что они придавали бедным созданиям потешный и неуклюжий вид и, видимо, причиняли сильную боль. На макушках у них были квадратные коробки, которые сперва показались мне тюрбанами, но я скоро заметил, что они крайне тяжелы и плотны, и заключил, что их назначение состоит в том, чтобы прочнее удерживать на плечах головы этих существ. Вокруг шеи у них были черные ошейники (несомненно, знаки рабства), какие мы надеваем на собак, только гораздо более широкие и жесткие, так что бедняги не могли повернуть головы, не поворачиваясь одновременно всем туловищем, и были обречены созерцать собственные носы, дивясь их необычайно курносой форме.

Когда чудовище почти вплотную приблизилось к берегу, где мы стояли, один из его глаз внезапно выставился вперед и изрыгнул сноп огня, сопровождавшийся густым облаком дыма и шумом, который можно сравнить лишь с раскатами грома. Едва дым рассеялся, мы увидели, что одна из диковинных человекоподобных тварей стоит подле головы чудища с большой трубой в руке, через которую (приставив ее ко рту) она

обратилась к нам, издавая громкие, резкие и неприятные звуки, которые мы приняли бы за слова, если бы они не исходили из носа.

На это обращение я не знал, как отвечать, ибо не понимал, что говорилось; в своей растерянности я обратился к носильщику, едва не лишившемуся чувств от страха, и спросил, какой породы, по его мнению, это чудовище и что за существа копошатся у него на спине. Носильщик, сотрясаясь от ужаса, пролепетал, что однажды уже слыхал о таком морском звере, что это свирепый демон с горящей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми джиннами на мучение людям; а создания на его спине — паразиты, вроде тех, что иногда заводятся на собаках и кошках, только крупнее и злее; что они имеют свое назначение, хотя и пагубное; ибо, кусая и жаля чудовище, доводят его до бешенства, заставляющего его рычать и творить всяческое зло, осуществляя тем самым мстительный и коварный замысел злых джиннов.

Это объяснение побудило меня пуститься наутек; ни разу не оглянувшись, я со всех ног побежал к холмам; носильщик кинулся бежать с такой же быстротой, но в противоположную сторону, спасая мои тюки, которые он, несомненно, сберег в

целости, — этого, впрочем, я не могу утверждать, ибо не помню, чтобы с тех пор с ним встречался.

Что касается меня, то человекоподобные паразиты (которые высадились на берег в лодках) пустились за мною в погоню, и скоро я был схвачен, связан по рукам и ногам и доставлен на спину чудовища, немедленно отплывшего в море.

Теперь я горько раскаивался в безрассудстве, заставившем меня покинуть домашний очаг, чтобы подвергать свою жизнь подобным опасностям; но, так как сожаления были бесполезны, я решил не унывать и постарался снискать расположение человеко-животного, владевшего трубой, который, очевидно, имел какую-то власть над своими спутниками. Это мне настолько удалось, что спустя несколько дней оно уже оказывало мне различные знаки благосклонности, а затем даже взяло на себя труд обучать меня основам того, что в своем тщеславии считало языком, так что я смог свободно с ним объясняться и сообщить о своем пылком желании повидать свет.

«Уошиш скуошиш, скуик, Синдбад, хэй дидл дидл, грант знд грамбл, хисс, фисс, уисс», — сказал он мне однажды после обеда, — но прошу прощения! Я позабыл, что ваше величество не знакомы с наречием кокнеев (это нечто среднее

между ржанием и кукареканьем). С вашего позволения я переведу. «Уошиш скуошиш» и т. д., то есть: «Я рад, любезный Синдбад, что ты оказался отличным малым; мы сейчас совершаем, как это называется, кругосветное плавание, и раз уж тебе так хочется повидать свет, я, так и быть, бесплатно повезу тебя на спине чудовища».

Когда леди Шехерезада дошла до этого места, сообщает «Таклинетли», царь повернулся с левого бока на правый и промолвил:

— Поистине, весьма удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синдбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычайными.

После того как царь высказал таким образом свое мнение, прекрасная Шехерезада вернулась к своему повествованию:

— Продолжая свой рассказ калифу, Синдбад сказал так: «Я поблагодарил человеко-животное за его доброту и скоро совершенно освоился на спине чудовища, с неимоверной быстротой плывшего по океану, хотя поверхность последнего в той части света отнюдь не плоская, но выпуклая, наподобие плода граната, так что мы все время плыли то в гору, то под гору».

— Это мне кажется очень странным, — прервал

царь.

— Тем не менее это чистая правда, — ответила Шехерезада.

— Сомневаюсь, — возразил царь, — но прошу тебя, продолжай рассказ.

— Так я и сделаю, — сказала царица. — «Чудовище, — так продолжал Синдбад, обращаясь к калифу, — плыло, как я уже говорил, то вверх, то вниз, пока мы наконец не достигли острова, имевшего в окружности много сотен миль и, однако, выстроенного посреди моря колонией крошечных существ, вроде гусениц»[154].

— Гм! — сказал царь.

— «Оставив позади этот остров, — продолжал Синдбад (ибо Шехерезада не обратила внимания на неучтивое замечание супруга), — оставив позади этот остров, мы прибыли к другому, где деревья были из массивного камня, столь твердого, что о него вдребезги разбивались самые острые

[154] Примечания: 154
Коралловые полипы. — (Примеч. автора).

топоры, которыми мы пытались их срубить»[155].

— Гм! — снова произнес царь, но Шехерезада, не обращая на него внимания, продолжала рассказ Синдбада.

— «Миновав и этот остров, мы достигли страны, где была пещера, уходившая на тридцать или сорок миль в глубь земли, а в ней — больше дворцов, и притом более обширных и великолепных, чем во всем Дамаске и Багдаде. С потолка этих дворцов свисали мириады драгоценностей, подобных алмазам, но размерами превышающих рост человека; а среди подземных улиц, образованных башнями, пирамидами и храмами, текли огромные реки, черные, как черное дерево, где обитали безглазые рыбы»[156].

— Гм! — сказал царь.

---

[155] Примечания: 155

Одним из величайших природных чудес Техаса является окаменевший лес у истоков реки Пасиньо. Он состоит из нескольких сотен стоящих стоймя деревьев, обратившихся в камень. Другие деревья, продолжающие расти, окаменели частично. Вот поразительный факт, который должен заставить естествоиспытателей изменить существующую теорию «окаменения». — Кеннеди.

Это сообщение, вначале встреченное недоверчиво, было впоследствии подтверждено открытием совершенно окаменевшего леса в верховьях реки Шайенн, иди Шьенн, текущей с Черных холмов в Скалистых горах.

Едва ли существует на земле более удивительное зрелище как для геолога, так и с точки зрения живописности, чем каменный лес вблизи Каира. Миновав гробницы калифов, сразу же за городскими воротами, путешественник направляется к югу, почти под прямым углом к дороге,

идущей через пустыню Суэц, и, проделав несколько миль по бесплодной низменности, покрытой песком, галькой и морскими ракушками, влажными, точно их оставил вчерашний прилив, пересекает гряду низких песчаных холмов, которая некоторое время тянулась вдоль его пути. Предстающее перед ним зрелище необыкновенно странно и уныло. На много миль вокруг простирается поваленный мертвый лес — бесчисленные обломки деревьев, ставших камнем и звенящих под копытами коня, как чугун. Дерево приобрело темно-бурый цвет, но полностью сохранило свою форму; обломки имеют в длину от одного до пятнадцати футов, а в толщину — от полуфута до трех; они лежат так тесно, что египетский ослик едва пробирается между ними, а выглядят так естественно, что в Шотландии или Ирландии местность могла бы сойти за огромное осушенное болото, где извлеченные наружу стволы гниют под солнцем. Корни и сучья часто вполне сохранились, а иногда можно различить даже отверстия, проточенные под корой червями. Сохранились тончайшие волокна заболони и строение сердцевины — их можно рассматривать при любом увеличении. И все это настолько окаменело, что способно царапать стекло и принимает какую угодно шлифовку. — «Азиатик мегезин». — (Примеч. автора).

[156] Примечания: 156

Мамонтова пещера в Кентукки. — (Примеч. автора).

— «Затем мы попали в такую часть океана, где была высокая гора, по склонам которой струились потоки расплавленного металла, иные — двенадцати миль в ширину и шестидесяти миль в длину[157], а из бездонного отверстия на ее вершине вылетало столько пепла, что он совершенно затмил солнце и вокруг стало темнее, чем в самую темную полночь, так что даже на расстоянии полутораста миль от горы нельзя было различить самых светлых предметов, как бы близко ни подносить их к глазам»[158].

— Гм! — сказал царь.

— «Отплыв от этих берегов, чудовище продолжало свой путь, пока мы не прибыли в страну, где все было словно наоборот, — ибо мы увидели там большое озеро, на дне которого, более чем в ста футах от поверхности, зеленел роскошный

---

[157] Примечания: 157

В Исландии, в 1783 году. — (Примеч. автора).

[158] Примечания: 158

«В 1766 году, при извержении вулкана Гекла, подобные тучи настолько затемнили небо над Глаумбой, находящейся более чем в пятидесяти лье от вулкана, что жителям приходилось пробираться ощупью. В 1794 году, во время извержения Везувия в Казерте, в четырех лье от него, можно было ходить только с факелами. Первого мая 1812 года туча вулканического пепла и песка, извергнутая вулканом на острове св. Винцента, застлала весь остров Барбадос, и там настала такая тьма, что в полдень, под открытым небом, нельзя было различить ближайшие деревья и другие предметы и даже белый платок, на расстоянии шести дюймов от глаз». — Меррей 10, стр. 215, *Phil. edit*. — (Примеч. автора).

лес»[159].

— Хо! — сказал царь.

— «Еще несколько сот миль пути, и мы очутились в таком климате, где в плотном воздухе держались железо и сталь, как у нас — пух»[160].

— Враки! — сказал царь.

— «Плывя дальше в том же направлении, мы достигли прекраснейшей страны в целом свете. Там протекала красивая река длиною в несколько тысяч миль. Эта река была необыкновенно глубока и более прозрачна, чем янтарь. В ширину она имела от трех до шести миль, а на берегах, подымавшихся отвесно на высоту тысячи двухсот футов, росли вечноцветущие деревья и неувядаемые благоуханные цветы, превращавшие всю местность в сплошной роскошный сад; но эта цветущая страна звалась царством Ужаса и вступить

---

[159] Примечания: 159

«В 1790 году, во время землетрясения в Каракасе, гранитная подпочва осела и образовала озеро диаметром в восемьсот ярдов, а глубиной от восьмидесяти до ста футов. На этом месте находилась часть леса Арипао, и деревья в течение нескольких месяцев оставались зелеными под водой». — *Меррей*, стр. 221. — (Примеч. автора).

[160] Примечания: 160

Самая твердая сталь, какая была когда-либо изготовлена, с помощью паяльной трубки может быть превращена в неосязаемую пыль, способную легко держаться в атмосферном воздухе. — (Примеч. автора).

в нее — значило неминуемо погибнуть»[161].

— Гм! — сказал царь.

— «Мы поспешили покинуть этот край и спустя несколько дней прибыли в другой, где с изумлением увидели мириады чудовищ, имевших на голове рога, острые, как косы. Эти отвратительные существа роют в земле обширные логова в форме воронок и выкладывают их края камнями, размещенными один над другим так, что они обрушиваются, едва лишь на них наступит какое-нибудь другое животное, и оно попадает в логово чудовища, которое высасывает из него кровь, а труп с пренебрежением отбрасывает на огромное расстояние от этих пещер смерти»[162].

— Фу-ты! — сказал царь.

— «Продолжая наш путь, мы повидали край, изобилующий растениями, которые растут не на

---

[161] Примечания: 161

Область Нигера. См. «Колониел мэгезин» Симмондса. — (Примеч. автора).

[162] Примечания: 162

Myrmeleon, или муравьиный лев. Слово «чудовище» одинаково применимо как к большим аномалиям, так и к малым, а эпитет «обширный» является относительным. Нора муравьиного льва обширна по сравнению с норкой обыкновенного рыжего муравья. А песчинка — это ведь тоже «камень». — (Примеч. автора).

земле, а в воздухе[163]. Есть и такие, что растут на других растениях[164], или произрастают на тела живых существ[165], или ярко светятся;[166] есть такие, которые способны передвигаться куда захотят;[167] а что еще удивительнее, мы обнаружили цветы, которые живут, дышат, произвольно двигают своими членами и вдобавок обладают отвратительной человеческой склонностью порабощать другие существа и заключать их в мрачные одиночные темницы, пока те не выполнят заданную работу»[168].

— Пхе! — сказал царь.

— «Покинув эту страну, мы вскорости достигли другой, где пчелы и птицы являются столь гениальными и учеными математиками, что ежедневно преподают уроки геометрии самым

---

[163] Примечания: 163

Epidendron 12, Flos Aeris из семейства Orchideae растет, прикрепившись только поверхностью корней к дереву или другому предмету, и не извлекает из него питательных веществ — питание ему доставляет исключительно воздух. — (Примеч. автора).

[164] Примечания: 164

Паразиты вроде удивительного Rafflesia Arnoldi. — (Примеч. автора).

[165] Примечания: 165

Шоу доказывает существование особой категории растений, растущих на теле животных, — Plantae Epizoae. К ним относятся Fuci и Algae. Мистер Дж. Б. Вильямс, из Салема, штат Массачузетс, подарил «Национальному Институту» новозеландское насекомое, приложив следующее описание: «Hotte», несомненно представляющее собой гусеницу или червя, находят у подножья дерева Rata, а из головы

его прорастает росток. Это необыкновенное насекомое вползает на деревья Rata и Puriri, проникает в дерево сверху и проедает его ствол, пока не добирается до корня; вылезши оттуда, оно умирает или погружается в спячку, а из его головы начинает расти росток; тело насекомого сохраняется полностью и становится тверже, чем оно было при жизни. Из этого насекомого туземцы приготовляют краску для татуировки. — (Примеч. автора).

[166] Примечания: 166

В шахтах и в естественных пещерах находят род тайнобрачного fungus (грибкового), испускающего сильное свечение. — (Примеч. автора).

[167] Примечания: 167

Орхидея, скабиоза и валлиснерия. — (Примеч. автора).

[168] Примечания: 168

«Трубчатый венчик этого цветка (Aristolochia Clema*titis*), оканчивающийся вверху язычком, внизу расширяется в виде шарика. Трубчатая часть усеяна внутри жесткими волосками, направленными книзу. В шарообразном расширении находится пестик, состоящий только из завязи и рыльца, вместе с окружающими тычинками. Однако, поскольку тычинки короче завязи, пыльца с них не может попасть на рыльце, ибо цветок до опыления стоит вертикально. Таким образом без посторонней помощи пыльца попадала бы на дно цветка. В этом случае Природа предусмотрела помощь, в виде Tipula Pennicornis, маленького насекомого, которое проникает в трубчатый венчик в поисках меда, спускается на дно и копошится там, пока не покроется пыльцой; не находя оттуда выхода вследствие расположения волосков, которые направлены книзу и сходятся подобно проволочкам мышеловки, насекомое мечется туда и сюда и тычется во все уголки, не раз проползая и по рыльцу, на котором оставляет достаточно пыльцы для опыления; а когда цветок клонится книзу, волоски прижимаются к стенкам венчика и позволяют насекомому легко выбраться наружу». — Преподобный П. Кейт. «Система физиологической ботаники». — (Примеч. автора).

ученым людям. Когда тамошний царь предложил награду за решение двух весьма трудных задач, они также были решены: одна — пчелами, а другая — птицами; но, поскольку царь держал их решение в тайне, математики лишь после многолетних трудов и исследований, составивших бесчисленное множество толстых томов, пришли наконец к тем же решениям, какие были немедленно даны пчелами и птицами»[169].

— О, бог ты мой! — сказал царь.

— «Едва скрылась из виду эта страна, как мы оказались вблизи другой, где с берега над нашими головами полетела стая птиц шириною в милю, а длиною в двести сорок миль; так что, хотя они летели со скоростью мили в минуту, потребовалось не менее четырех часов, чтобы

---

[169] Примечания: 169

Пчелы — с тех пор как существуют — строят свои ячейки с такими именно стенками, в таком именно количестве и под таким именно наклоном, которые, как было доказано (путем весьма сложных математических выкладок), дают им наибольший простор, совместимый с максимальной прочностью их сооружения.

В конце прошлого столетия среди математиков возник замысел «определить наилучшую форму для крыльев ветряной мельницы, при любых возможных расстояниях от вращающихся лопастей, а также от центров вращения». Проблема эта крайне сложна, ибо требует нахождения наилучшего положения при бесконечном числе расстояний и бесконечном числе точек. Известнейшие математики много раз пробовали ее решить, а когда решение было найдено, люди обнаружили, что его можно найти в устройстве птичьих крыльев со времен первой птицы, поднявшейся в воздух. — (Примеч. автора).

над нами пролетела вся стая, в которой были миллионы миллионов птиц»[170].

— Черт-те что! — сказал царь.

— «Не успели мы избавиться от этих птиц, которые доставили нам немало хлопот, как были напуганы появлением птицы иного рода, несравненно более крупной, чем даже птица Рух, встречавшаяся мне во время прежних путешествий; ибо она была больше самого большого из куполов над твоим сералем, о великодушнейший из калифов. У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветные полосы. Чудовищная птица уносила в когтях в свое заоблачное гвездо целый дом, с которого она сорвала крышу и внутри которого мы явственно различили людей, очевидно в отчаянии ожидавших своей страшной участи. Мы кричали что было мочи, надеясь напугать птицу и заставить ее выпустить добычу, но она только запыхтела и зафыркала,

---

[170] Примечания: 170

Он наблюдал стаю голубей, пролетавшую между Франкфортом и территорией Индианы, шириною не менее мили; перелет продолжался четыре часа, а это, при скорости одна миля в минуту, дает расстояние в 240 миль; таким образом, считая по три голубя на квадратный ярд, в стае было 2 230 272 000 голубей. — Лейтенант Ф. Холл. «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам». — (Примеч. автора).

точно разозлилась, и уронила нам на голову мешок, оказавшийся полным песку».

— Чепуха! — сказал царь.

— «Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов»[171].

— Вот этому я верю, — сказал царь, — ибо читал нечто подобное в книге.

— «Мы прошли под этим материком (проплыв между ног коровы) и спустя несколько часов оказались в стране поистине удивительной, которая, по словам человеко-животного, была его родиной, населенной такими же, как он, созданиями. Это очень возвысило человеко-животное в моих глазах; и я даже устыдился презрительной фамильярности, с какою до тех пор с ним обращался, ибо обнаружил, что человеко-животные являются нацией могущественных волшебников; в мозгу у них водятся черви[172], которые, изви-

[171] Примечания: 171

«Земля покоится на корове голубого цвета, у которой четыреста рогов». — Коран в переводе Сейла. — (Примеч. автора).

[172] Примечания: 172

Entozoa, или кишечных червей, нередко обнаруживают в мышцах и в мозгу человека. — См. Уайет 18. «Физиология», стр. 143. — (Примеч. автора).

ваясь там, несомненно возбуждают усиленную работу мышления».

— Вздор! — сказал царь.

— «Эти волшебники приручили несколько весьма странных пород животных, например, лошадь с железными костями и кипящей водой вместо крови. Вместо овса она обычно питается черными камнями; но, несмотря на столь твердую пищу, обладает такой силой и резвостью, что может везти тяжести, превосходящие весом самый большой из здешних храмов, и притом со скоростью, какой не достигает в полете большинство птиц»[173].

— Чушь! — сказал царь.

— «Видел я также у этого народа курицу без перьев, но ростом больше верблюда; вместо мяса и костей у нее железо и кирпич; кровь ее, как и у лошади (которой она приходится сродни), состоит из кипящей воды; подобно ей, она питается одними лишь деревяшками или же черными камнями. Эта курица часто приносит в день по сотне цыплят, которые потом еще несколько

[173] Примечания: 173

На Западной железной дороге, между Лондоном и Эксетером, достигнута скорость в 71 милю в час. Состав весом в 90 тонн примчался от вокзала Паддингтон де Дидкот (53 мили) за 51 минуту. — (Примеч. автора).

недель остаются в утробе матери»[174].

— Бредни! — сказал царь.

— «Один из этих могучих чародеев сотворил человека из меди, дерева и кожи, наделив его такой мудростью, что он может обыграть в шахматы кого угодно на свете, кроме великого калифа Гаруна-аль-Рашида[175]. Другой чародей (из таких же материалов) создал существо, посрамившее даже своего гениального создателя; ибо разум его столь могуч, что за секунду оно производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года[176]. А еще более искусный волшебник создал нечто, не похожее ни на человека, ни на животное, но обладающее мозгом из свинца и какого-то черного вещества вроде дегтя, а также пальцами, действующими с невообразимой быстротой и ловкостью, так что оно без труда могло бы сделать за час целых двадцать тысяч списков Корана, и притом с такой безошибочной точностью, что ни один из них не отличался бы от другого даже на волосок. Это

---

[174] Примечания: 174
Eccaleobion [Инкубатор]. — (Примеч. автора).

[175] Примечания: 175
Автоматический игрок в шахматы Мельцеля. — (Примеч. автора).

[176] Примечания: 176
Счетная машина Бэббиджа. — (Примеч. автора).

создание наделено таким могуществом, что единым дыханием возводит и свергает величайшие империи; но мощь его используется как во благо, так и во зло».

— Нелепость! — сказал царь.

— «Среди этого народа чародеев был один, в чьих жилах текла кровь саламандр; ибо он мог как ни в чем не бывало сидеть и покуривать свою трубку в раскаленной печи, пока там готовился его обед[177]. Другой обладал способностью превращать обыкновенные металлы в золото, даже не глядя на них[178]. Третий имел столь тонкое осязание, что мог изготовлять проволоку, невидимую глазу[179]. Четвертый обладал такой быстротой соображения, что мог сосчитать все отдельные движения упругого тела, колеблющегося со скоростью девятисот миллионов раз в секунду»[180].

---

[177] Примечания: 177

Шабер, а после него сотня других. — (Примеч. автора).

[178] Примечания: 178

Электротипия. — (Примеч. автора).

[179] Примечания: 179

Волластон изготовил для телескопа платиновую проволоку толщиною в одну восемнадцатитысячную дюйма. Увидеть ее можно было только под микроскопом. — (Примеч. автора).

[180] Примечания: 180

Ньютон доказал, что под действием фиолетового луча спектра ретина глаза колеблется 900 000 000 раз в секунду. — (Примеч. автора).

— Ерунда! — сказал царь.

— «Был и такой чародей, что с помощью флюида, которого еще никто не видел, мог по своей воле заставить трупы своих друзей размахивать руками, дрыгать ногами, драться и даже вставать и плясать[181]. Другой настолько развил свой голос, что он был слышен из края в край земли[182]. У третьего была столь длинная рука, что, находясь в Дамаске, он мог написать письмо в Багдаде и вообще на любом расстоянии[183]. Четвертый повелевал молнией и мог призвать ее с небес, а призвав, забавлялся ею, точно игрушкой. Пятый брал два громких звука и творил из них тишину. Шестой из двух ярких лучей света извлекал густую тьму[184].

Еще один изготовлял лед в раскаленной пе-

---

[181] Примечания: 181

Вольтов столб. — (Примеч. автора).

[182] Примечания: 182

Электрический телеграф передает сообщение моментально, во всяком случае для любого земного расстояния. — (Примеч. автора).

[183] Примечания: 183

Электротелеграфный печатающий аппарат. — (Примеч. автора).

[184] Примечания: 184

Обычные в естественных науках опыты. Если два красных луча из двух источников света пропустить через темную камеру так, чтобы они падали на белую поверхность, а разница в их длине была 0,0000258 дюйма, их яркость удвоится. Так же будет, если разница в длине равна любому кратному этой дроби, представляющему собой целое число. Если эти кратные — 21/4, 31/4 и т. п., получаем яркость одного луча; а

кратные 21/2, 31/2 и т. п. дают полную темноту. Для фиолетовых лучей мы имеем подобное явление при разнице длины в 0,000157 дюйма; те же результаты дают и все другие лучи спектра, причем разница в их длине равномерно возрастает от фиолетовых к красным. Аналогичные опыты со звуками дают подобный же результат. — (Примеч. автора).

чи[185]. Еще один приказывал солнцу рисовать свой портрет, и солнце повиновалось[186]. Еще один брал это светило, а также луну и планету, взвешивал их с большой точностью, а затем исследовал их недра и определял плотность вещества, из которого они состоят. Впрочем, весь тамошний народ настолько искусен в волшебстве, что не только малые дети, но даже обычные кошки и собаки без труда видят предметы либо вовсе не существующие, либо такие, которые исчезли с лица земли за двадцать тысяч лет до появления самого этого народа»[187].

— Невероятно! — сказал царь.

— «Жены и дочери этих могущественных чародеев, — продолжала Шехерезада, ничуть не смущаясь многократными и весьма невежли-

---

[185] Примечания: 185

Поместите платиновый тигель над спиртовкой и раскалите его докрасна; влейте туда серной кислоты, которая обладает чрезвычайной летучестью при обычных температурах, но в раскаленном тигле будет стойкой, и ни одна капля не испарится — ибо она окружена собственной атмосферой и не соприкасается со стенками сосуда. Если теперь добавить туда несколько капель воды, кислота немедленно войдет в соприкосновение с раскаленными стенками тигля и превратится в пары серной кислоты, притом так быстро, что одновременно уйдет и тепло воды, и на дно сосуда выпадет кусочек льда; если поторопиться и не дать ему растаять, можно извлечь из раскаленного докрасна сосуда кусок льда. — (Примеч. автора).

[186] Примечания: 186

Дагерротип. — (Примеч. автора).

[187] Примечания: 187

Хотя скорость света составляет 200 000 миль в секунду, расстояние до ближайшей, насколько мы знаем, из неподвижных звезд (Сириуса) так бесконечно велико, что его лучам требуется не менее трех лет, чтобы достичь Земли. Для более отдаленных звезд, по скромному подсчету, нужно 20 и даже 1000 лет. Таким образом, если они исчезли 20 или 1000 лет назад, они сейчас еще видны нам по свету, испускавшемуся их поверхностью 20 или 1000 лет назад. Что многие из тех звезд, которые мы ежедневно видим, уже угасли, возможно и даже более того — вероятно.

[Гершель-старший утверждает, что свет самой отдаленной туманности, видимой в его большой телескоп, доходит до Земли за 3 000 000 лет. В таком случае для некоторых звезд, ставших видимыми благодаря инструменту лорда Росса, это должно быть по меньшей мере 20 000 000 лет. (Примечание Грисволда)]. — (Примеч. автора).

выми замечаниями супруга, — жены и дочери этих великих магов обладают всеми талантами и прелестями и были бы совершенством, если бы не некоторые роковые заблуждения, от которых пока еще бессильно избавить их даже чудодейственное могущество их мужей и отцов. Заблуждения эти принимают то один вид, то другой, но то, о котором я говорю, постигло их в виде турнюра».

— Чего? — переспросил царь.

— Турнюра, — сказала Шехерезада. — «Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо зависит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера…»

— Довольно! — сказал царь. — Я не желаю больше слушать и не стану. От твоего вранья у меня и так уже разболелась голова. Да и утро, как я вижу, уже наступает. Сколько бишь времени мы женаты? У меня опять проснулась совесть. Дромадер! Ты, кажется, считаешь меня ослом.

Короче говоря, пора тебя удавить.

Эти слова, как я узнал из «Таклинетли», удивили и огорчили Шехерезаду; но, зная царя как человека добросовестного и не способного нарушить слово, она покорилась своей участи, не сопротивляясь. Правда, пока на ней затягивали петлю, она обрела немалое утешение в мысли, что столько еще осталось нерассказанным и что ее раздражительный супруг наказал себя, лишившись возможности услышать еще много удивительного.

Сила слов[188]

Ойнос. Прости, Агатос, немощь духа, лишь недавно наделенного бессмертием!

Агатос. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!

Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.

Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все — проклятие нечистого.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неведомым даже ему.

Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы *наконец* не узнаем всего?

Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств, попытайся продвинуть его вдоль

---

[188] Примечания: 188

© Перевод. В. Рогов.

бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо — так — и так! — и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен Вселенной? Стен из мириад сверкающих небесных тел, одною своею бесчисленностью слитых воедино?

Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи — не греза.

Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи — создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду *познания*, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду — значит уничтожить бытие души. Вопрошай же меня, мой Ойнос, без смущения и страха. Ну же! Оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! Вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы привыкли наименовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец — не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что божество не творит.

Ойнос. Поясни.

Агатос. Только вначале оно творило. Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.

Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она — всего лишь простая истина.

Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную *видимость* творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием animalculae[189].

Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного

---

[189] Примечания: 189
Микроскопических существ (лат.).

творения — *единственной* категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, — ужели все эти звезды, Агатос, не сотворены самим Царем?

Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к желаемому пониманию. Ты отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не может погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили на Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и *навсегда* нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному исчислению — так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый

атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда, — эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех, кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.

Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?

Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигшему совершенство алгебраического анализа не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру — до отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бес-

конечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, *сообщенный воздуху, должен в конечном счете* воздействовать на каждый обособленный предмет *в пределах Вселенной*; и существо, наделенное бесконечным знанием, существо, которое мы вообразим, способно проследить все отдаленные колебания импульса, проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи — вечно по восходящей в их модификациях старых форм — или, иными словами, в *их творении нового* — пока не найдет их *наконец-то* бездейственными, отраженными от престола божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление, например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет, ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве — эта способность во *все* эпохи относить *все* следствия ко *всем* причинам, конечно, является исключительной прерогативой божества, но в любой степени, кроме абсолютного совершенства, этою способностью обладают в совокупности все небесные Интеллекты.

Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.

Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, — а также как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой *творения*.

Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?

Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли…

Ойнос. Бог.

Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, Ойнос, об импульсах земной атмосферы.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоем сознании некая мысль о *материальной силе слов*? Разве каждое слово — не импульс, сообщаемый воздуху?

Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? — и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и все же самой ужасной изо всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны

волшебному сновидению, но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.

Агатос. Это так, это так! Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной, я создал эту мятежную звезду моими словами — немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы — и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы — и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.

Система доктора Дегот и профессора Перье[190]

Осенью 18**, путешествуя по южной Франции, я очутился в нескольких милях от Maison de Santé[191], или частной лечебницы для душевнобольных, о которой много наслышался в Париже от моих друзей медиков. Я ни разу еще не посещал подобных заведений, и, не желая упустить удобный случай, предложил моему дорожному товарищу (господину, с которым познакомился за несколько дней перед тем) завернуть на часок в лечебницу. На это он возразил, что, во-первых — торопится, во-вторых — боится помешанных. Впрочем, он уговаривал меня не стесняться и удовлетворить мое любопытство, прибавив, что поедет не торопясь, и я успею догнать его сегодня же, или, самое позднее, на другой день. Прощаясь с ним, я подумал, что меня, чего доброго, не пустят в лечебницу, и выразил свои опасения вслух. Он отвечал, что если я не знаком лично

---

[190] Примечания: 190

© Перевод. М. Энгельгардт.

[191] Примечания: 191

Психиатрическая больница (франц.).

с директором, г-ном Мальяром, и не имею рекомендательного письма, то меня, пожалуй, в самом деле не пустят, так как правила в частных лечебницах гораздо строже, чем в казенных. Он прибавил, что несколько лет тому назад познакомился с г-ном Мальяром и готов заехать со мной к нему и познакомить меня, хотя сам не пойдет в больницу, так как не выносит сумасшедших.

Я поблагодарил его, и мы свернули с большой дороги на проселочную, которая через полчаса привела нас к дремучему лесу у подошвы горы. Мы проехали две мили в его сырой мгле и, наконец, увидели Maison de Santé. Это был фантастический château[192], очень ветхий и с виду почти необитаемый. Он произвел на меня такое тяжелое впечатление, что я задержал лошадь и хотел было вернуться. Однако устыдился своего малодушия и поехал дальше.

Когда мы подъехали к воротам, я заметил, что из ворот выглядывает какой-то господин. Минуту спустя он вышел к нам навстречу, назвал моего спутника по имени, приветливо пожал ему руку и предложил сойти с коня. Это был сам г-н Мальяр: статный, видный, старосветский господин,

---

[192] Примечания: 192
Замок (франц.).

с любезными манерами и весьма внушительным видом важности, достоинства и авторитета.

Мой друг представил меня, сообщил о моем желании, а когда г-н Мальяр выразил готовность оказать мне всяческое содействие, распростился с нами, и больше я его не видел.

Когда он уехал, директор провел меня в маленькую и очень опрятную гостиную, где в числе прочих предметов, свидетельствовавших об утонченном вкусе, находились книги, картины, цветы и музыкальные инструменты. В камине весело трещали дрова. За пианино сидела, напевая арию Беллини, молодая и очень красивая женщина, которая при моем появлении перестала петь и приветствовала меня грациозным поклоном. У нее был низкий голос и тихие, сдержанные манеры. Лицо ее показалось мне печальным и крайне бледным, что, впрочем, вовсе не портило его, на мой вкус. Она была в глубоком трауре и возбудила во мне смешанное чувство уважения, любопытства и восхищения.

Я слышал в Париже, что в заведении г-на Мальяра господствовала так называемая система поблажки, что никаких наказаний не применялось, даже к лишению свободы прибегали очень редко. За пациентами следили очень внима-

тельно, но они пользовались полной свободой, и большинству позволялось гулять по всему дому и окрестностям в обыкновенных костюмах, какие носят здоровые люди.

Имея в виду это обстоятельство, я решил поостеречься в разговорах с дамой, так как не знал наверное, здорова ли она; а беспокойный блеск ее глаз даже заставлял меня подозревать противное. Итак, я ограничился замечаниями самого общего характера, которые, по моему расчету, не могли раздражить или обидеть даже сумасшедшего. Она отвечала совершенно разумно, обнаружив, по-видимому, вполне здравый ум; но я был слишком хорошо знаком с литературой по части всевозможных маний, чтобы положиться на эти внешние признаки здоровья, и продолжал соблюдать осторожность в разговоре.

Вскоре бойкий лакей в ливрее принес фрукты, вино и закуску, а, немного погодя, дама ушла. Как только она удалилась, я вопросительно взглянул на хозяина.

— Нет, — сказал он, — о нет — это моя родственница, моя племянница, превосходная женщина.

— Простите мои подозрения, — отвечал я, — впрочем, вы скорее, чем кто-либо, найдете извинение для меня. Ваш превосходный метод

хорошо известен в Париже, и я считал возможным, вы понимаете…

— Да, да, понимаю, это мне следует благодарить вас за вашу осторожность. Такая предусмотрительность редко встречается у молодых людей, и у нас бывали неприятные contre-temps[193] вследствие беспечности посетителей. При моей прежней системе, когда пациенты свободно гуляли всюду, их часто доводили до бешенства неосторожные замечания господ, являвшихся осматривать лечебницу. Поэтому мне пришлось принять ограничительные меры и допускать в лечебницу только таких лиц, на которых я могу положиться.

— При вашей прежней системе, — сказал я, повторяя его слова, — значит система поблажки, о которой я столько наслышался, оставлена вами?

— Несколько недель тому назад, — отвечал он, — нам пришлось навсегда отказаться от нее.

— В самом деле? Вы удивляете меня!

— Мы нашли безусловно необходимым, милостивый государь, — отвечал г-н Мальяр со вздохом, — вернуться к старинным порядкам. Опасность системы поблажки всегда была гро-

---

[193] Примечания: 193
Помеха (франц.).

мадна, а преимущества ее сильно преувеличены. Я думаю, что если был где-нибудь убедительный опыт в этом отношении, так именно у нас. Мы делали все, что могла внушить гуманность. Я жалею, милостивый государь, что вам не случилось побывать здесь раньше, — вы бы могли судить сами. Впрочем, вы, вероятно, знакомы с системой поблажки, с ее деталями?

— Не вполне. Слышал о ней только из третьих и четвертых рук.

— Основа этой системы — потакать желаниям пациентов. Мы не противоречим никаким причудам, зародившимся в их мозгу. Напротив, мы даже поощряем их; и таким путем удавалось достигнуть самого надежного исцеления. Никакой аргумент не действует на сумасшедшего сильнее reductio ad absurdum[194]. Например, у нас были пациенты, воображавшие себя цыплятами. Лечение: соглашаться с этим фактом, настаивать на том, что это факт, укорять пациента в непоследовательности, если он не сообразуется с этим фактом — например, не хочет питаться исключительно цыплячьим кормом. Немножко крупы и песка делали чудеса в этом отношении.

---

[194] Примечания: 194
Сведение к абсурду (лат.).

— В этом и заключалось все лечение?

— Никоим образом. Большое значение имели развлечения всякого рода — музыка, танцы, гимнастические упражнения вообще, карты, книги и т. п. Мы делали вид, что лечим пациента от какого-нибудь физического недуга, и самое слово «помешательство» никогда не произносилось. Главное было заставить каждого помешанного наблюдать за товарищами. Если сумасшедший увидит, что вы полагаетесь на его ум и порядочность, он будет ваш телом и душой. Таким путем нам удалось довести до минимума число смотрителей.

— И вы не применяли никаких наказаний?

— Никаких.

— И никогда не запирали ваших пациентов?

— Очень редко. Случалось иногда, что в болезни наступал кризис, или она внезапно принимала буйный характер, — в таких случаях приходилось запирать пациента в отдельную камеру, чтобы не заразить других, и держать его в одиночном заключении до возвращения родственникам, потому что с буйным помешательством нам нечего делать. Такие пациенты помещаются обыкновенно в общественные госпитали.

— А теперь все это изменилось, и вы думаете,

к лучшему?

— Несомненно. Наша система имела свои невыгодные, даже опасные стороны. Теперь она, к счастью, отвергнута во всех Maisons de Sante Франции.

— Ваши слова крайне удивляют меня, — отвечал я, — я был уверен, что в настоящее время только эта система и применяется по всей Франции.

— Вы еще молоды, друг мой, — возразил хозяин, — но время научит вас полагаться только на собственное суждение, не доверяя россказням других. Не верьте ничему, что вы слышите, и только наполовину верьте тому, что видите. Очевидно, какие-нибудь невежды ввели вас в заблуждение насчет Maisons de Sante. После обеда, когда вы отдохнете, я охотно покажу вам лечебницу и ознакомлю вас с системой, которая, по моему мнению и по мнению всех, кто имел случай наблюдать ее действие, далеко превосходит все остальные.

— Это ваша система? — спросил я. — Вами изобретенная?

— Я горжусь тем, что могу признать ее своею, — отвечал он, — по крайней мере, до некоторой степени.

В такой беседе мы провели час или два с г-ном Мальяром. Он показал мне сад и оранжереи, имевшиеся при лечебнице.

— Я подожду знакомить вас с моими пациентами, — заметил он. — Их выходки всегда более или менее расстраивают нервного человека. Я не хочу отбивать у вас аппетит. Сначала мы пообедаем. Я угощу вас телятиной a la Sainte Menehould, цветной капустой sauce veloute, стаканчиком Clos Vougeot — для укрепления нервов.

В шесть часов слуга объявил, что кушать подано, и мы отправились в обширную salle à manger[195], где уже собралось многочисленное общество — человек двадцать пять или тридцать. Все это был с виду народ порядочный, хорошего воспитания, хотя их костюмы показались мне слишком нарядными, отзывались показной пышностью de vieille court[196]. Дамы составляли добрых две трети всех присутствующих, и туалеты многих далеко не удовлетворяли понятиям современного парижанина о хорошем вкусе. Например, некоторые из дам, которым нельзя было дать менее семидесяти лет, были увешаны

---

[195] Примечания: 195
Столовая (франц.).

[196] Примечания: 196
Стареющих придворных (франц.).

драгоценностями: браслетами, кольцами, серьгами и декольтированы до неприличия. Я заметил также, что лишь немногие костюмы были хорошо сшиты, по крайней мере, лишь немногие хорошо сидели на своих владельцах. В числе дам я увидел и девушку, с которой г-н Мальяр познакомил меня утром; но, к моему удивлению, на ней оказались фижмы, ботинки с высокими каблуками и заношенный чепчик из брюссельских кружев, слишком большой для ее головы и придававший ее лицу какое-то смешное выражение миниатюрности. Когда я в первый раз увидел ее, она была в глубоком трауре, который очень шел ей. Словом, костюмы всего общества отличались странностью, которая напомнила мне о системе поблажки. Я даже подумал, что г-н Мальяр решился обманывать меня, пока не кончится обед, опасаясь, что мне будет неприятно обедать в обществе сумасшедших. Но я вспомнил, что обитатели южных провинций, как мне говорили еще в Париже, народ крайне эксцентричный, с устарелыми понятиями; а когда я поговорил с двумя-тремя из присутствующих, мои сомнения окончательно рассеялись.

Столовая, хотя, быть может, достаточно удобная и просторная, не отличалась изящным

убранством. Например, на полу не было ковров; впрочем, это весьма обычное явление во Франции. Окна были без занавесей; закрытые ставни укреплялись железными полосами крест-накрест, как в наших лавках. Комната составляла пристройку к château[197]; поэтому окна находились на трех сторонах прямоугольника, а дверь с четвертой. Всех окон было не менее десяти.

Обед отличался пышностью. Стол был загроможден блюдами со всевозможными кушаньями, в изобилии поистине варварском. Я никогда в жизни не видал такой расточительности по части съестных припасов. Впрочем, они были приготовлены довольно безвкусно; а мои глаза, привыкшие к мягкому освещению, жестоко страдали от чудовищного блеска бесчисленных восковых свечей в серебряных канделябрах, расставленных на столе и по всей комнате, где только можно было их поместить. Несколько лакеев прислуживали за обедом, а на возвышении в углу сидели семь или восемь человек с флейтами, скрипками, тромбонами и барабаном. Они жестоко надоедали мне во время обеда оглушительным шумом, который должен был

[197] Примечания: 197
Замок (франц.).

изображать музыку и, по-видимому, доставлял большое удовольствие всем, кроме меня.

В общем я не мог не заметить во всем этом много bizarre[198]. Но ведь на свете немало разного народа со всевозможными взглядами и привычками. Я столько путешествовал, что не мог не сделаться поклонником правила: nil admirari[199]. Итак, я спокойно уселся рядом с хозяином и, чувствуя волчий аппетит, принялся уписывать предлагаемые мне блюда.

Вскоре разговор оживился. Дамы, как водится, принимали в нем большое участие. Я скоро убедился, что вся компания состоит из образованных людей, а сам хозяин неистощим по части забавных анекдотов. Он охотно говорил о своем директорстве в Maison de Santé, да и вообще, к моему удивлению, помешательство служило главной темой разговоров. Множество забавных историй было рассказано о различных пунктах помешательства.

— Был у нас один субъект, — сказал маленький толстый джентльмен, сидевший рядом со мною, — который воображал себя чайником.

---

[198] Примечания: 198
Странный, причудливый (франц.).

[199] Примечания: 199
Ничему не удивляться (лат).

Между прочим, замечательно часто эта химера заходит в головы помешанных. Вряд ли найдется сумасшедший дом во Франции, в котором бы не оказалось человека-чайника. Наш пациент воображал себя чайником из британского металла и каждый день чистился мелом и уксусом.

— А то еще, — заметил рослый джентльмен, сидевший напротив, — был у нас господин, считавший себя ослом, что, впрочем, было совершенно верно, если говорить аллегорически. Пребеспокойный был пациент, и нам пришлось-таки с ним повозиться. Не хотел ничего есть, кроме сена, но от этого мы его отучили, настаивая, чтобы он не ел ничего другого. А главное, он постоянно лягался… вот так… так…

— Господин Кок! Пожалуйста, угомонитесь, — перебила его старая леди, сидевшая рядом. — Не дрыгайте ногами! Вы оборвали мне платье! Какая надобность, скажите пожалуйста, пояснять свой рассказ на деле? Наш друг, без сомнения, и так понимает вас. Честное слово, вы почти такой же осел, как тот несчастный, о котором вы рассказывали. Вы лягаетесь удивительно натурально.

— Mille pardons! Ma'mzelle![200] — возразил г-н

---

[200] Примечания: 200
Тысячу извинений! Мадмуазель! (франц.)

Кок. — Тысячу извинений! Я не имел намерения оскорбить вас. Ma'mzelle Лаплас, соблаговолите оказать мне честь чокнуться со мною.

Тут г-н Кок низко поклонился, церемонно поцеловал кончики своих пальцев и чокнулся с Ma'mzelle Лаплас.

— Позвольте мне, mon ami[201], — сказал г-н Мальяр, — обращаясь ко мне, — позвольте мне предложить вам кусочек телятины, я уверен, что она вам очень понравится.

В эту минуту трое здоровых лакеев благополучно водрузила на стол огромное блюдо с какой-то массой, показавшейся мне с первого взгляда чем-то чудовищным. Вглядевшись повнимательнее, я убедился, однако, что это просто теленок, зажаренный целиком, с яблоком во рту, как приготовляют в Англии зайцев.

— Нет, благодарствуйте, — отвечал я, — сказать правду, я не особенный охотник до телятины a la S-te… Как это? — Она вредна для моего желудка. Я вот лучше попробую кролика.

На столе было несколько блюд с обыкновенным французским кроликом, как мне показалось. Это превосходное кушанье, которое я могу рекомен-

---

[201] Примечания: 201
Мой друг (франц.).

довать всякому.

— Пьер, — крикнул хозяин, — перемените прибор господина и предложите ему кролика au chat.

— Кролика… как?

— Кролика au chat.

— Благодарю вас, я передумал. Я лучше отрежу себе ветчины.

«Бог знает, что подают за столом, — подумал я, — у этих провинциалов. Не хочу их кролика au chat, или их кошку au-кролик».

— А то еще, — заметил какой-то господин с наружностью покойника, возобновляя прерванную нить разговора, — а то еще был у нас пациент, вообразивший себя кордовским сыром. Он вечно ходил с ножом и предлагал всем и каждому отрезать ломтик от его ноги.

— Он, без сомнения, был большой чудак, — заметил другой, — но еще чуднее субъект, известный всем нам, за исключением этого незнакомого господина. Я говорю о том пациенте, что воображал себя бутылкой шампанского и вечно щелкал и шипел… вот так…

Тут он неожиданно засунул большой палец правой руки за левую щеку и, выдернув его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, заши-

пел и засвистел, очень искусно подражая звуку пенящегося шампанского. Заметно было, что эта выходка не понравилась г-ну Мальяру, однако он ничего не сказал, и разговор продолжался в прежнем духе.

— А помните вы чудака, — вымолвил маленький худенький господин в огромном парике, — который воображал себя лягушкой. Жаль, что вы не видали его, сударь, — продолжал он, обращаясь ко мне, — он замечательно верно подражал лягушке. Я могу только пожалеть, милостивый государь, что этот человек не был на самом деле лягушкой. Его кваканье, вот так: о-о-о-о-кх! о-о-о-о-кх! — была прекраснейшая нота в мире — си-бемоль; а если бы вы посмотрели, как он клал локти на стол… вот так… выпив два-три стаканчика… и разевал рот… таким манером… и выкатывал глаза… вот этак… и моргал с поразительной быстротой, вы бы подивились, милостивый государь, да, уверяю вас, вы бы подивились гениальности этого человека.

— Я совершенно уверен в этом, — сказал я.

— А Пти Гальяр, — подхватил один из собеседников, — помните, он считал себя щепоткой нюхательного табаку и все огорчался, что не может уместиться между своими же большим и

указательным пальцами.

— А Жюль Дезульер, тоже гений своего рода, помешался на том, будто он тыква. Вечно приставал к повару с просьбой сделать из него кашу, но тот с негодованием отказывался. А мне кажется, тыквенная каша a Ja Desouliers могла бы оказаться превосходным блюдом.

— Вы изумляете меня! — сказал я и вопросительно взглянул на г-на Мальяра.

— Ха! Ха! Ха! — разразился он, — Хе! Хе! Хе! Хи! Хи! Хи! Хо! Хо! Хо! Хорошо сказано, очень хорошо. Не изумляйтесь, mon ami; этот господин большой шутник, drôle[202], вы не должны принимать его слова буквально.

— А Буффон Ле-Гран, — заметил другой собеседник, — тоже был курьезный субъект. Он рехнулся от любви и вообразил, что у него две головы: одна — голова Цицерона, а другая — двойная: верхняя половина до рта — Демосфена, нижняя — лорда Брума. Возможно, что он ошибался, но вы бы, пожалуй, поверили ему: так он был красноречив. У него была непреодолимая страсть произносить речи. Например, он вскакивал на стол, вот так…

Но тут сосед положил ему руку на плечо и что-

---

[202] Примечания: 202
Шутник (франц.).

то прошептал на ухо, после чего говоривший сразу умолк и откинулся на спинку стула.

— А Буллар, волчок, — сказал его сосед, — я называю его волчком, потому что его действительно преследовала странная, но не лишенная основания мысль, будто он превратился в волчок. Вы бы померли со смеха, глядя, как он вертелся. Он мог вертеться на каблуке целый час, вот таким образом…

Но тут его приятель, которого он остановил за минуту перед тем, оказал ему такую же услугу.

— Ваш г-н Буллар, — взвизгнула старая леди, — просто сумасшедший и очень глупый сумасшедший. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о человеке-волчке? Какой вздор. Мадам Жуаез гораздо рассудительнее. У нее тоже была мания, но мания, подсказанная здравым смыслом и доставлявшая много удовольствия всем, кто пользовался честью быть знакомым с нею. Она убедилась после долгих размышлений, что какая-то случайность превратила ее в петуха, и вела себя сообразно с этим убеждением. Она хлопала крыльями с изумительным эффектом… так… так… так… а ее пение было восхитительно! Куку-реку! Ку-ку-ре-ку! Ку-ку-ре-е-ку-у-у-у-у-у-у!..

— Мадам Жуаез, прошу вас вести себя при-

лично! — перебил хозяин очень сердито. — Или держите себя, как подобает даме, или ступайте вон из-за стола, — одно из двух.

Дама (я очень удивился, услышав ее фамилию после того, как она только что описала мадам Жуаез) вспыхнула и, по-видимому, крайне смутилась. Она понурила голову и не отвечала ни слова. Но другая, помоложе, вмешалась в разговор. Это была моя красавица из маленькой гостиной.

— О, мадам Жуаез была сумасшедшая! — воскликнула она. — Но Евгения Сальсефетт… вот у кого было много здравого смысла. Эта прекрасная, скромная девушка находила неприличным обыкновенный способ одеваться. По ее мнению, следовало одеваться так, чтобы быть снаружи, а не внутри платья. В конце концов, это очень просто. Нужно сделать так… и вот так… так… так… а затем вот так… так… так… а затем…

— Mon Dieu![203] Ma'mzelle Сальсефетт! — крикнула разом дюжина голосов. — Что вы делаете?.. Невозможно!.. Перестаньте!.. Мы знаем, как это делается!.. Довольно!.. — Несколько человек вскочили с мест, чтобы помешать ma'mzelle Сальсефетт превратиться в Венеру Медицейскую,

---

[203] Примечания: 203
Мой бог! (франц.)

как вдруг из отдаленной части здания раздались отчаянные вопли, разом остановившие девушку.

Эти крики сильно подействовали и на мои нервы, но на остальную компанию жалко было смотреть. Я никогда не думал, что разумные существа могут так перепугаться. Они все побледнели, как трупы, и, скорчившись на своих стульях, сидели, дрожа от страха и прислушиваясь к крикам. Крики снова раздались громче и, по-видимому, ближе, потом в третий раз очень громко; и в четвертый гораздо тише. Когда шум затих, присутствие духа вернулось к собеседникам, и снова посыпались анекдоты. Я решился спросить о причине шума.

— Чистые пустяки, — сказал г-н Мальяр. — Мы привыкли к подобным происшествиям и не придаем им значения. Время от времени сумасшедшие подымают крик все сообща, как это случается со стаей собак ночью. Бывает иногда, что за этим концертом следует попытка освободиться, которая, конечно, угрожает некоторой опасностью.

— А много у вас сумасшедших?

— В настоящую минуту всего десять человек.

— Преимущественно женщин, я полагаю?

— О нет, все до единого мужчины, и здоровые

молодцы, доложу вам.

— В самом деле! А я всегда слышал, будто большинство помешанных принадлежит к слабому полу.

— Вообще да, но не всегда. Несколько времени тому назад здесь было около двадцати семи пациентов, и в том числе не менее восемнадцати женщин; но в последнее время обстоятельства существенно изменились, как вы сами видите.

— Да, существенно изменились, как вы сами видите, — подтвердил господин, оборвавший платье ma'mzelle Лаплас.

— Да, существенно изменились, как вы сами видите, — подхватила хором вся компания.

— Придержите языки! — крикнул хозяин с бешенством. Последовало гробовое молчание, длившееся с минуту. Одна из дам буквально исполнила приказание г-на Мальяра, высунув язык, оказавшийся необычайно длинным, и покорно схватившись за него обеими руками.

— А эта милая дама, — шепнул я г-ну Мальяру, — эта почтенная леди, что сейчас говорила и пела по-петушиному, она совершенно безопасна? Совершенно безопасна?

— Безопасна? — произнес он с непритворным изумлением. — Что… что вы хотите сказать?

— Немножко того? — сказал я, дотронувшись до своего лба. — Но, разумеется, чуть-чуть… ничего опасного, да?

— Mon Dieu! Что это вам пришло в голову? Эта дама, моя давнишняя приятельница, мадам Жуаез, так же здорова, как я сам. Она немножко эксцентрична, но, знаете, все старушки, все очень старые старушки более или менее эксцентричны.

— Конечно, — сказал я, — конечно, а остальные леди и джентльмены…

— Мои друзья и смотрители дома, — перебил г-н Мальяр, выпрямляясь с некоторой hauteur[204], — мои добрые друзья и помощники.

— Как? Все они? — спросил я. — И дамы?

— Разумеется, — отвечал он, — без дам мы бы ничего не могли поделать; это лучшие няньки для сумасшедших. Знаете, они справляются с ними на свой лад; их блестящие глаза производят чудесное действие — чаруют, как глаза змеи, знаете.

— Конечно, — сказал я, — конечно! Они держат себя немножко странно, не правда ли? Немножко чудачки, а? Вы не находите?

---

[204] Примечания: 204
Надменность, высокомерие (франц.).

— Странно?.. Чудачки? Вы в самом деле так думаете? Правда, мы, южане, не охотники до церемоний, живем в свое удовольствие, пользуемся жизнью и всякого рода увеселениями.

— Конечно, — повторил я, — конечно!

— Кажется, это Clos de Vougeot немножко того, немножко крепко… а, правда?

— Конечно, — сказал я, — конечно. Кстати, monsieur, система, которую вы применяете ныне вместо знаменитой системы поблажки, очень строга?

— Ничуть. Строгое заключение необходимо, но пользование, собственно медицинское пользование, скорее приятно для больных.

— Эта новая система — ваше изобретение?

— Не совсем. Частью профессора Дегот, о котором вы, конечно, слышали; а некоторые изменения предложены знаменитым Перье, с которым, если не ошибаюсь, вы связаны тесной дружбой.

— Со стыдом должен признаться, — возразил я, — что в первый раз слышу имена этих господ.

— Праведное Небо! — воскликнул мой хозяин, откидываясь на спинку кресла и всплеснув руками. — Так ли я вас понял? Неужели вы никогда не слыхали об ученом докторе Дегот и знаменитом профессоре Перье?

— Должен сознаться в моем невежестве, — отвечал я, — но правда прежде всего. Как бы то ни было, мне крайне совестно, что я до сих пор не ознакомился с сочинениями этих, без сомнения, замечательных людей. Я непременно прочту их. Monsieur Мальяр, признаюсь, вы не на шутку, не на шутку сконфузили меня.

Так и было на деле.

— Полноте, мой юный друг, — сказал он ласково, пожимая мне руку, — выпьем-ка лучше по стаканчику сотерна.

Мы выпили. Компания последовала нашему примеру. Снова посыпались шутки, остроты, раздался смех, собеседники проделывали тысячи забавных выходок, скрипки визжали, барабан грохотал, тромбоны ревели медными голосами, и, по мере того как вино брало верх, сцена становились все безобразнее, превратившись, наконец, в настоящий вертеп. Тем временем г-н Мальяр и я перед батареей сотерна и кло-де-вужо продолжали разговаривать, крича во всю глотку. Слово, сказанное обыкновенным тоном, было бы так же слышно среди этого гвалта, как голос рыбы со дна Ниагарского водопада.

— Перед обедом вы упоминали, — крикнул я ему в ухо, — об опасностях, связанных с системой

поблажки. В чем же собственно опасность?

— Да, — отвечал он, — опасность есть и весьма серьезная. Нельзя предвидеть капризы сумасшедших; и, по моему мнению, так же, как по мнению доктора Дегот и профессора Перье, никогда не следует предоставлять им свободу. Кротость действует известное время, но в конце концов только придает сумасшедшему наглости. Прибавьте сюда изумительную, баснословную хитрость помешанного. Он скрывает свои планы с удивительным благоразумием, а искусство, с каким он притворяется здоровым, представляет в глазах философа одну из любопытнейших психологических проблем. Да, когда сумасшедший кажется совершенно здоровым, тогда-то и следует надеть на него смирительную рубашку.

— Но опасность, о которой вы упоминали, — вам лично пришлось испытать ее в течение вашего управления этой лечебницей? Есть у вас фактическое основание считать прежнюю систему рискованной?

— Лично? Пришлось ли мне испытать? Да, я могу отвечать утвердительно. Например, не так давно в этом доме случилось странное происшествие. Вы знаете, здесь применялась система поблажки, и пациенты разгуливали на свобо-

де. Вели себя замечательно хорошо, примерно; сколько-нибудь сообразительный человек мог бы уже по этому одному догадаться, что у них назревает какой-нибудь адский замысел. И вот, в одно прекрасное утро, смотрители были связаны по рукам и по ногам, посажены в подвал, и помешанные превратились в смотрителей за ними.

— Что вы говорите? Я в жизнь свою не слыхивал о таком нелепом происшествии!

— А между тем это факт. И все это случилось по милости одного олуха, помешанного, который забрал в голову, будто ему удалось изобрести наилучшую систему лечения сумасшедших. Кажется, он хотел испытать свое изобретение на практике и для того подговорил остальных пациентов свергнуть существующее правление.

— И ему удалось?

— Вполне. Смотрители и пациенты поменялись местами. Но уже не на прежний лад, потому что пациенты очутились на воле, а смотрители в подвале, где с ними обращались очень любезно.

— Но разумеется, контрреволюция не заставила себя ждать? Такое положение вещей не могло тянуться долго. Посетители подняли бы тревогу.

— Вы ошибаетесь. Предводитель мятежников был слишком хитер для этого. Он вовсе не

принимал посетителей, только однажды сделал исключение для глупенького юного джентльмена, которого нечего опасаться. Он пригласил его осмотреть лечебницу так, шутки ради, чтобы позабавиться над ним. Потом, подурачившись, отпустил его на все четыре стороны.

— И долго длилось это правление сумасшедших?

— О, очень долго, месяц наверное, может быть, и дольше, не знаю. И могу вас уверить, помешанные как нельзя лучше воспользовались своей властью. Они сбросили свои рваные халаты и нарядились в фамильные платья и драгоценности. В погребах château оказался изрядный запас вин; и сумасшедшие доказали, что знают в них толк. Они превесело жили, уверяю вас.

— А система, что это за система, изобретенная предводителем?

— Да, в этом отношении я должен заметить, что сумасшедший не обязательно дурак; и, по моему скромному мнению, его система была гораздо лучше прежней. В самом деле, это была превосходная система, простая, удобная, не связанная ни с какими затруднениями, словом, восхитительная, именно…

Тут речь моего хозяина была прервана новым

взрывом воплей, таких же, как те, что смутили нас ранее. Но на этот раз крики быстро приближались.

— Святители! — воскликнул я. — Сумасшедшие освободились.

— Боюсь, что да, — отвечал г-н Мальяр, страшно побледнев. Не успел он выговорить эти слова, как громкие крики и ругательства раздались под самыми окнами: и стало очевидно, что толпа людей пытается ворваться в комнату. Слышались удары в дверь, ставни тряслись и трещали.

Последовала сцена ужаснейшего смятения. Г-н Мальяр, к моему крайнему изумлению, залез под стол. Я ожидал от него большей решимости. Оркестранты, у которых в последние четверть часа хмель, по-видимому, отбил способность исполнять свою обязанность, вскочили, схватились за инструменты, забрались на стол и принялись наяривать «Янки Дудль», не совсем стройно, зато с нечеловеческой энергией.

Тем временем на столе, среди бутылок и стаканов, очутился господин, которому раньше помешали вскочить на него. Он немедленно начал спич, который, без сомнения, оказался бы очень красноречивым, если бы его можно было расслышать. В ту же минуту господин, рассказы-

вавший о пациенте-волчке, пустился, кружась, по комнате, расставив руки под прямым углом к телу и сбивая с ног всякого встречного. Вместе с тем я услышал громкое хлопанье пробки и шипение шампанского и, обернувшись, увидел джентльмена, который уже изображал бутылку с этим деликатным напитком во время обеда. В свою очередь человек-лягушка заквакал с таким усердием, точно от этого зависело спасение его жизни. Среди этой суматохи отчаянно лягался осел. Мой старый друг, мадам Жуаез, растерялась так, что я пожалел ее от души. Она убежала в уголок подле камина и во всю глотку орала: «Ку-ку-ре-кууууууу!»

И вот разразилась катастрофа! Так как никакого сопротивления осаждающим не было оказано, то все десять рам вылетели очень быстро, почти разом. Но я никогда не забуду ужаса и изумления, овладевших мною, когда в открытые окна ворвалась и ринулась в наш pêle-mêle[205] с криком, визгом, рассыпая удары и тумаки, целая армия чудовищ, которых я принял за шимпанзе или орангутангов, или больших черных павианов с мыса Доброй Надежды.

---

[205] Примечания: 205
Беспорядок (франц.).

Я получил страшный удар, покатился под диван и спрятался там. Однако, пролежав четверть часа и прислушиваясь к тому, что происходило в комнате, уразумел довольно ясно denouement[206] этой трагедии. По-видимому, г-н Мальяр, рассказывая мне о сумасшедшем, который подговорил своих товарищей к возмущению, сообщал о своих собственных подвигах. Дело в том, что этот господин действительно был директором лечебницы два-три года тому назад, но, в конце концов, помешался сам и превратился в пациента. Этот факт остался неизвестным моему дорожному товарищу. Смотрители, всего десять человек, были захвачены врасплох, вымазаны дегтем, тщательно облеплены перьями и заперты в подвал. Тут просидели они целый месяц, причем г-н Мальяр великодушно доставлял им, кроме дегтя и перьев (в чем и заключалась его «система»), пищу и воду. Вода накачивалась к ним ежедневно. Наконец, одному из пленников удалось выбраться на волю через водосточную трубу и освободить остальных.

Система поблажки, впрочем, с важными изменениями, была восстановлена в château; но я не

---

[206] Примечания: 206
Развязка (англ.).

могу не согласиться с г-ном Мальяром, что его способ «пользования» в своем роде очень хорош. Как справедливо заметил сам изобретатель, он «прост, удобен и не связан ни с какими затруднениями».

Прибавлю в заключение, что хотя я и разыскивал по всем европейским библиотекам произведения доктора Дегот и профессора Перье, но до сих пор мои поиски не увенчались успехом.

Mellonta Tauta[207][208]

Редактору «Ледиз бук».

Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом (иногда называемым Пророком из Покипси) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в Mare Tenebrarum[209], – море это отлично описано нубийским географом, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.

Преданный вам Эдгар А. По.

С борта воздушного шара «Жаворонок»
1 апреля 2848

---

[207] Примечания: 207
То в будущем (греч.).

[208] Примечания: 208
© Перевод. З. Александрова.

[209] Примечания: 209
Море мрака (лат.).

Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливым письмом. Да, повторяю, за все ваши выходки я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой canaille[210], отправившихся в *увеселительную* поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на terra firma[211] по крайней мере, месяц. Поговорить не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать — это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо, — из-за своей ennui[212] и ваших прегрешений.

Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.

Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто *Новое*? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара?

---

[210] Примечания: 210
Сброда (франц.).

[211] Примечания: 211
Твердую землю (лат.).

[212] Примечания: 212
Скуки (франц.).

Неужели *никто* не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца — сущая пытка. Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отправились! Птицы и те нас обгоняют, во всяком случае некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что, если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот

шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали тутовыми ягодами — это нечто вроде арбуза, — а когда он был достаточно жирен, его размалывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась папирусом, а затем подвергалась дальнейшей обработке, пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось *euphorbium*, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингемом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на гуттаперчу, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов *грибов*. Надеюсь, Вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.

Кстати, о гайдропах — наш только что сбил человека с борта одного из небольших пароходиков

на магнитной тяге, которыми кишит поверхность океана, измещением около шести тысяч тонн и, очевидно, безобразно перегруженного. Этим малым судам следовало бы запретить перевозить больше установленного числа пассажиров. Разумеется, человека не приняли обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным кругом. Как я рада, дорогой друг, что мы живем в истинно просвещенный век, когда отдельная личность ничего не значит. Подлинное Человеколюбие заботится только о массе. Кстати о Человеколюбии — известно ли вам, что наш бессмертный Уиггинс не столь же оригинален в своей концепции Социальных Условий и т. п., как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что те же мысли и почти в той же форме были высказаны около тысячи лет назад одним ирландским философом, носившим имя Фурже, потому что он торговал в розницу фуражом. А уж Пандит знает, что говорит; никакой ошибки тут быть не может. Удивительно, как подтверждается ежедневно глубокомысленное замечание индуса Арис Тоттля (цитирую по Пандиту): «Вот и приходится нам сказать, что не однажды и не дважды или несколько раз, но почти до бесконечности одни и те же взгляды

имеют хождение среди людей».

2 апреля. Окликнули сегодня магнитный катер, ведающий средней секцией плавучих телеграфных проводов. Я слышала, что, когда Хорзе впервые сконструировал этот тип телеграфа, никто не знал, как проложить провода через океан, а сейчас нам просто непонятно, в чем заключалась трудность! Такова жизнь. «Tempora mutanitur»[213], — извините, что цитирую этруска. Что бы мы делали без аталантического телеграфа? (Согласно Пандиту, древняя форма этого прилагательного была «атлантический».) Мы на несколько минут легли в дрейф, чтобы задать катеру ряд вопросов, и в числе других интересных новостей услышали, что в Африке бушует гражданская война, а чума делает свое благое дело и в Юропе, и в Айшии. Подумать только, что раньше, до того как Гуманизм озарил философию своим ярким светом, человечество считало Войну и Чуму бедствиями. В древних храмах даже молились об избавлении людей от этих бед (!). Право, трудно понять, какую выгоду находили в этом наши предки! Неужели они были так слепы, что не понимали, насколько уничтожение

---

[213] Примечания: 213
Времена меняются (лат.).

какого-нибудь миллиарда отдельных личностей полезно для общества в целом?

3 апреля. Очень интересно взбираться по веревочной лестнице на верхушку шара и обозревать оттуда окружающее. В корзине, как вы знаете, видимость не так хороша — по вертикали мало что можно увидеть. Но там, где я сейчас пишу это письмо, на открытой площадке, устланной роскошными подушками, отлично видно во все стороны. Сейчас я как раз вижу множество воздушных шаров, представляющих весьма оживленное зрелище, а в воздухе стоит гул многих миллионов голосов. Я слышала, что, когда Брин (Пандит утверждает, что правильнее будет: Дрин), считающийся первым аэронавтом, доказывал возможность двигаться в воздухе во всех направлениях и для этого подыматься или опускаться, пока не попадешь в нужное воздушное течение, современники не хотели об этом слышать и считали его за одаренного безумца, а все потому, что тогдашние философы (?) объявили это неосуществимым. Право, я *совершенно* не постигаю, как такая очевидная вещь могла быть недоступна пониманию древних

savants[214]. Впрочем, во все времена самые большие препятствия прогрессу Искусств чинили так называемые люди науки. Конечно, *наши* ученые далеко не столь нетерпимы, как прежние, — ах, на эту тему я могу сообщить нечто удивительное. Представьте себе, что всего каких-нибудь тысячу лет назад философы освободили людей от странного заблуждения, будто бы *постижение Истины возможно лишь двумя путями!* Хотите — верьте, хотите — нет! Оказывается, в очень далекие и темные времена жил турецкий (а возможно, индусский) философ по имени Арис Тоттль. Этот человек ввел, и во всяком случае проповедовал, так называемый дедуктивный, или *априорный* метод исследования. Он начинал с *аксиом*, то есть «самоочевидных истин», а от них «логически» шел к результатам. Его лучшими учениками были Невклид и Кэнт. Так вот, Арис Тоттль владел умами вплоть до появления некоего Хогга, прозванного «эттрикский пастух», который предложил совершенно иной метод, названный им à posteriori[215], или индуктивным. Он полагался исключительно на Ощущения. От

---

[214] Примечания: 214
Ученых (франц.).

[215] Примечания: 215
Букв. «от последующего», т. е. исходя из опыта (лат.).

фактов, которые он наблюдал, анализировал и классифицировал, — их высокопарно называли instantiae naturae[216] — он шел к общим законам. Одним словом, система Ариса Тоттля основывалась на noumena[217]; система Хогга — на phenomena[218]. Восхищение новой теорией было столь велико, что Арис Тоттль утратил всякое значение; правда, позднее он вернул свои позиции и ему позволили разделить трон Истины со своим более современным соперником. Savants[219] стали считать метод Ариса Тоттля и метод бекoновский единственными путями к познанию. Надо заметить, что слово «бекoновский» было введено в качестве более благозвучного и пристойного эквивалента слова «хогговский».

И уверяю вас, дорогой друг, что я излагаю все это объективно и по самым надежным источникам; понятно, насколько эта явно нелепая концепция задерживала прогресс всякого истин-

---

[216] Примечания: 216
Природными данностями (лат.).

[217] Примечания: 217
Вещах в себе (лат.).

[218] Примечания: 218
Явлениях (лат.).

[219] Примечания: 219
Ученые (англ.).

ного знания, которое почти всегда развивается интуитивно и скачкообразно. Старая же система сводила научное исследование к продвижению ползком; в течение сотен лет влияние Хогга было столь велико, что, по существу, закрыло путь всякому подлинному мышлению. Никто не решался провозгласить ни одной истины, если был обязан ею только собственному Духу. Пусть даже эта истина была доказуема, все равно тогдашних твердолобых savants интересовал только путь, каким она была достигнута. На результат они не желали и смотреть. «Каким путем? — вопрошали они, — покажите, каким путем». Если оказывалось, что этот путь не подходил ни под Ариса (по-латыни: Овна), ни под Хогга, ученые не шли дальше, а попросту объявляли «теоретика» глупцом и знать не хотели ни его, ни его открытия.

Между тем ползучая система не давала возможности постичь наибольшего числа истин, даже за долгие века, ибо подавление воображения является таким злом, которого не может искупить никакая точность старых методов исследования. Заблуждение этих гурманцев, ранцуссов, аглинчан и амрикканцев (последние, кстати сказать, являются нашими предками) было подобно заблуждению человека, который полагает, что

видит предмет тем лучше, чем ближе подносит его к глазам. Они ослепляли себя созерцанием мелких подробностей. Когда они рассуждали по-хогговски, их «факты» отнюдь не всегда были фактами, но это бы еще не имело большого значения, если бы они не утверждали, что факты должны быть таковыми, раз таковыми кажутся. Когда они шли за Овном, их путь получался едва ли не извилистей его рогов, ибо у них никогда не оказывалось аксиомы, которая была бы действительно аксиомой. Надо было быть совершенно слепым, чтобы не видеть этого даже в те времена, ибо уже тогда многие из давно «установленных» аксиом были отвергнуты. Например, «Ex nihilo nihil fit»[220]; «Никто не может действовать там, где его нет»; «Антиподов не существует»; «Из света не может возникнуть тьма» — все эти и десяток других подобных положений, прежде безоговорочно принимавшихся за аксиомы, в то время, о котором я говорю, уже были признаны несостоятельными. До чего же нелепа была упорная вера в «аксиомы» как неколебимые основы Истины! Тщету и призрачность всех их аксиом можно доказать даже цитатами из наиболее

[220] Примечания: 220
Ничто не происходит из ничего (лат.).

серьезных тогдашних логиков. А кто был у них наиболее серьезным логиком? Минутку! Пойду спрошу Пандита и мигом вернусь… Вот! Передо мною книга, написанная почти тысячу лет назад, а недавно переведенная с аглисского — от которого, кстати, произошел, видимо, и амрикканский. Пандит говорит, что это несомненно лучшее из древних сочинений по логике. Автором его (в свое время очень чтимым) был некто Миллер или Милль; сохранились сведения, что у него была лошадь по имени Бентам. Заглянем, однако, в его трактат.

Вот! «Способность или неспособность познать что-либо, — весьма резонно замечает мистер Милль, — ни в коем случае не должна приниматься за критерий неопровержимой истины». Ну, какой нормальный человек нашего времени станет оспаривать подобный трюизм? Приходится лишь удивляться, почему мистер Милль вообще счел нужным указывать на нечто столь очевидное. Пока все хорошо — но перевернем страницу. Что же мы читаем? «Противоречащие один другому факты не могут быть оба верны, то есть не уживаются в природе». Здесь мистер Милль хочет сказать, что, например, дерево должно либо быть деревом, либо нет и не мо-

жет одновременно быть и деревом и недеревом. Отлично; но я спрашиваю его, отчего? Он отвечает следующим образом, именно следующим образом: «Потому что невозможно постичь, как противоречащие друг другу вещи могут быть обе верны». Но ведь это вовсе не ответ, как сам же он признает; ведь признал же он только что за очевидную истину, что «способность или неспособность познать ни в коем случае не должна приниматься за критерий истины».

Однако эти древние возмущают меня не столько тем, что их логика, по собственному их признанию, совершенно несостоятельна, беспочвенна и непригодна, сколько той надменностью и тупостью, с какой они налагали запрет на все иные пути к Истине, на все иные способы ее достичь, кроме двух абсурдных путей, где надо либо ползти, либо карабкаться, на которые они осмелились обречь Душу, тогда как она стремится прежде всего парить.

Кстати, дорогой друг, эти древние догматики ни за что не догадались бы (не правда ли?), каким из их двух путей была достигнута наиболее важная и высокая из всех их истин. Я имею в виду закон Тяготения. Ньютон обязан им Кеплеру. А Кеплер признавал, что угадал свои три закона

— те три важнейших закона, которые привели великого аглисского математика к его главному принципу, основному для всей физики, за которым начинается уже Царство Метафизики. Кеплер угадал их, иными словами, вообразил. Он был истинным «теоретиком» — это слово, ныне священное, некогда было презрительной кличкой. Ну, как сумели бы эти старые кроты объяснить, каким из двух «путей» специалист по криптографии расшифровывает особо сложную криптограмму и по какому из них Шампольон направил человечество к тем непреходящим и почти неисчислимым истинам, которые явились следствием прочтения им Иероглифов?

Еще два слова на эту тему, которая вам уже, наверное, наскучила. Не странно ли свыше всякой меры, что при их вечной болтовне о путях к Истине эти рутинеры не нашли самой широкой дороги к ней, той, которая сейчас видна нам так ясно, — дороги Последовательности? Не странно ли, что из созерцания творений бога они не сумели извлечь наиболее важного факта, а именно, что абсолютная последовательность должна быть и абсолютной истиной? Насколько упростился путь прогресса после этого недавнего открытия! Исследования были отняты у кротов,

рывшихся в земле, и поручены единственным подлинным мыслителям — людям пылкого воображения. Они теоретизируют. Воображаете, какое презрение вызвали бы мои слова у наших пращуров, если бы они могли сейчас видеть, что я пишу! Повторяю, эти люди теоретизируют, а затем остается эти теории выправить, систематизировать, постепенно очищая их от примесей непоследовательности, пока не выявится абсолютная последовательность, а ее — именно потому, что это есть последовательность, — даже тупицы признают за абсолютную и бесспорную истину.

4 апреля. Новый газ творит чудеса в сочетании с новой, усовершенствованной гуттаперчей. Насколько наши современные воздушные шары надежны, комфортабельны, легко управляемы и во всех отношениях удобны! Сейчас один из таких огромных шаров приближается к нам со скоростью, по крайней мере, ста пятидесяти миль в час. Он, по-видимому, полон пассажиров — их три или четыре сотни, но тем не менее парит на высоте около мили, презрительно поглядывая сверху на нас, бедных. И все же сто и даже двести миль в час — это, в сущности, медленно. Помните наш поезд, мчавшийся через Канадийский ма-

терик? Добрых триста миль в час — вот это уже было недурно. Правда, никакого обзора, оставалось только флиртовать, угощаться и танцевать в роскошных салон-вагонах. А помните, какое странное возникало чувство, когда из бешено мчащегося вагона перед нами на мгновение мелькал внешний мир? Все сливалось в сплошную массу. Что касается меня, то я, пожалуй, предпочитала тихоходный поезд, миль на сто в час. Там разрешены остекленные окна — их даже можно открывать — и с некоторой отчетливостью видеть местность… Пандит говорит, что Канадийская железная дорога была проложена почти девятьсот лет назад! Он утверждает даже, будто еще можно различить следы дороги, оставшиеся именно от тех далеких времен. Тогда, по-видимому, было всего две колеи; у нас, как вы знаете, их двенадцать; а скоро будут добавлены еще три или четыре. Древние рельсы были очень тонкими и лежали так близко один к другому, что езда по ним, согласно нынешним понятиям, была делом весьма легкомысленным, чтобы не сказать опасным. Даже современная ширина колеи — пятьдесят футов — считается едва достаточной для безопасности движения. Я тоже не сомневаюсь, что какая-то колея должна была

существовать уже в весьма давние времена, как утверждает Пандит; мне кажется бесспорным, что в какой-то период — разумеется, не менее семисот лет назад — Северный и Южный Канадийские материки составляли одно целое, так что канадийцы по необходимости должны были иметь трансконтинентальную железную дорогу.

5 апреля. Погибаю от ennui. Кроме Пандита, не с кем поговорить, а он, бедняга, способен беседовать только о древностях. Он весь день занят тем, что пытается убедить меня, будто у древних амрикканцев было самоуправление — ну где это слыхана подобная нелепость? — будто они жили неким сообществом, где каждый был сам по себе, вроде «луговых собак», о которых мы читаем в преданиях. Он говорит, будто они исходили из чрезвычайно странного принципа, а именно: что все люди рождаются свободными и равными — а это наперекор законам градации, столь отчетливо проявляющимся всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Каждый у них «голосовал», как это называлось, то есть вмешивался в общественные дела, пока наконец не выяснилось, что общее дело — всегда ничье дело и что «Республика» (так именовалась эта нелепость), по существу, не имеет правительства.

Рассказывают, впрочем, будто первым, что поколебало самодовольство философов, создавших эту «Республику», явилось ошеломляющее открытие, что всеобщее избирательное право дает возможности для мошенничества, посредством которого любая партия, достаточно подлая, чтобы не стыдиться этих махинаций, всегда может собрать любое число голосов, не опасаясь помех или хотя бы разоблачения. Достаточно было немного поразмыслить над этим открытием, чтобы стало ясно, что мошенники обязательно возьмут верх и что республиканское правительство может быть только жульническим. Но пока философы краснели, устыдясь своей неспособности предвидеть это неизбежное зло, и усердно изобретали новые учения, появился некий молодчик по имени Чернь, который быстро решил дело, забрав все в свои руки и установив такой деспотизм, рядом с которым деспотизм легендарных Зерона и Геллофагабала был почтенным и приятным. Этот Чернь (кстати сказать, иностранец) был, как говорят, одним из гнуснейших созданий, когда-либо обременявших землю. Он был гигантского роста — нагл, жаден и неопрятен; обладал злобностью быка, сердцем гиены и мозгами павлина. В конце концов он скончался от избытка собственной

энергии, которая его истощила. Однако и от него была своя польза — как вообще от всего, даже самого гадкого, — он преподал человечеству урок, которого оно не забывает доныне, а именно: никогда не идти наперекор аналогиям, существующим в природе. Что касается Республиканского принципа, то ему на земле не находится даже аналогий, не считая «луговых собак», а это исключение если что-либо доказывает, так только то, что демократия является отличной формой правления — для собак.

6 апреля. Вчера ночью нам была отлично видна Альфа Лиры; диск ее, если смотреть в подзорную трубу нашего капитана, стягивает угол в полградуса и очень похож на наше солнце, как оно видно в туманный день невооруженным глазом. Кстати, Альфа Лиры, хотя и несравненно большего размера, вообще весьма похожа на Солнце и своими пятнами, и своей атмосферой, и многими другими особенностями. О бинарной зависимости, существующей между этими двумя светилами, стали догадываться лишь в последние сто лет — так говорит мне Пандит. Несомненное движение нашей системы в небесах принималось (как это ни странно!) за вращение ее вокруг колоссальной звезды, находящейся в центре

Галактики. Считали, что именно вокруг этого светила или, во всяком случае, вокруг центра притяжения, общего для всех планет Млечного Пути и находящегося предположительно вблизи Альционы, в Созвездии Плеяд, вращаются все эти планеты, причем наша оборачивается вокруг него за 117 000 000 лет! Нам при нашем уровне знаний после крупных усовершенствований телескопа и т. п., разумеется, трудно понять, на каком основании возникла подобная идея. Первым, кто ее провозгласил, был некто Мадлер. Надо полагать, что к этой странной гипотезе его привела вначале простая аналогия; но если так, ему следовало хотя бы держаться аналогий и далее, развивая ее. Он предположил существование большого центрального светила — и тут он был последователен. Однако это центральное светило динамически должно было быть больше, чем все окружающие светила, взятые вместе. А тогда можно было бы спросить: «Почему же его не видно?» — особенно нам, находящимся в середине скопления, именно там, где должно бы находиться это немыслимое центральное солнце, или, во всяком случае, вблизи него. Вероятно, астроном ухватился здесь за гипотезу о несветящемся теле и сразу перестал прибегать к аналогиям. Но даже

допустив, что центральное светило не излучает света, как сумел он объяснить его невидимость, когда вокруг со всех сторон сияли бесчисленные солнца? Несомненно, что в конце концов он стал говорить лишь о центре притяжения, общем для всех вращающихся небесных тел, но для этого ему опять-таки пришлось оставить аналогии. Наша система действительно вращается вокруг общего центра притяжения, но это объясняется существованием настоящего Солнца, чья масса более чем уравновешивает остальную систему. Математическая окружность представляет собой кривую, состоящую из бесконечного числа прямых; но это представление об окружности, которое в земной геометрии считается именно математическим, в отличие от практического, оно-то именно и является практическим, единственным, которое мы имеем право принять для исполинских окружностей, с какими приходится иметь дело, по крайней мере, мысленно, когда мы воображаем вращение нашей системы и соседних с нею вокруг некоей точки в центре Галактики. Пусть самое смелое человеческое воображение сделает хотя бы попытку постичь подобную окружность! Едва ли будет парадоксом сказать, что даже молния, вечно мчащаяся по

этой невообразимой окружности, будет вечно мчаться по прямой. Нельзя допустить, что путь нашего Солнца по этой окружности и вращение всей нашей системы по такой орбите меняет, в восприятии человека, отклониться в малейшей степени от прямой даже за миллион лет; а между тем древних астрономов, как видно, удалось убедить, что за краткий период их астрономической истории, то есть за какие-нибудь ничтожные две-три тысячи лет, появилась заметная кривизна! Непонятно, как такие соображения сразу же не указали им на истинное положение вещей — а именно, на двойное обращение нашего солнца и Альфы Лиры вокруг общего центра притяжения.

7 апреля. Продолжали вчера ночью наши астрономические развлечения. Отчетливо видели пять астероидов Нептуна и с большим интересом наблюдали, как кладут огромный пятовый камень на дверные перекрытия в новом храме в Дафнисе на Луне. Любопытно, что столь миниатюрные и мало похожие на людей создания обладают техническими способностями, намного превосходящими наши. Трудно также поверить, что огромные глыбы, которые они с легкостью передвигают, на самом деле весят так мало, хотя об этом напоминает нам наш разум.

8 апреля. Эврика! Пандит может блеснуть. Сегодня нас окликнули с канадийского воздушного шара и забросили нам несколько свежих газет; в них содержатся чрезвычайно любопытные сообщения о канадийских, а точнее амрикканских древностях. Вы, должно быть, знаете, что вот уже несколько месяцев рабочие роют новый водоем в Парадизе, главном увеселительном саду императора. Парадиз с незапамятных времен был, собственно говоря, островом, то есть (уже во времена древнейших письменных памятников, какие сохранились) был ограничен с севера речушкой, вернее, очень узким морским протоком. Этот проток постепенно расширяли, и сейчас он имеет в ширину милю. В длину остров имеет девять миль; ширина в разных местах весьма различна. Все это пространство (как говорит Пандит) около восьмисот лет назад было сплошь застроено домами, достигавшими иногда двадцати этажей, так как земля (по неизвестной причине) была именно в этой местности особенно дорога. Однако сильнейшее землетрясение 2050 года настолько разрушило город (ибо он был, пожалуй, великоват для того, чтобы назвать его деревней), что самые усердные из наших археологов так и не смогли найти на этом месте достаточно ма-

териала (в виде монет, медалей или надписей), чтобы составить себе хоть самое общее понятие о нравах, обычаях и пр. и пр. прежних жителей. Почти все, что нам было до сих пор о них известно, это — что они принадлежали к дикому племени никербокеров, населявшему материк ко времени его открытия Рекордером Райкером, кавалером Ордена Золотого Руна. Впрочем, совершенно дикими они не были, ибо на свой лад развивали некоторые искусства и даже науки. О них рассказывают, что они во многом обнаруживали смышленость, но были одержимы странной манией: строить «церкви» — так назывались на древнеамрикканском языке пагоды, где поклонялись двум идолам, звавшимся Богатством и Модой. Говорят, что в конце концов остров на девять десятых состоял из церквей. А женщины были у них обезображены разросшимися выпуклостями пониже спины — хотя это уродство, совершенно неизвестно почему, считалось у них красотой. Сохранилась пара чудом уцелевших изображений этих диковинных женщин. Они действительно выглядят очень странно, напоминая одновременно индюка и дромадера.

Эти немногие мелочи составляли почти все, что нам было известно о древних никербокерах.

Но сейчас, копая землю в центре императорского сада (который, как вы знаете, занимает весь остров), рабочие откопали обтесанный гранитный куб весом в несколько сотен фунтов. Он был в хорошей сохранности и, как видно, почти не пострадал от землетрясения, которое погребло его под слоем земли. К одной из его поверхностей была прикреплена мраморная доска, а на ней (подумать только!) надпись — ясно различимая надпись. Пандит просто вне себя от восторга! Когда доску сняли, под ней оказалось углубление, а в нем — свинцовый ящик, заполненный различными монетами, длинный свиток каких-то имен, несколько печатных листов, похожих на газеты, и другие материалы, столь ценные для археолога! Все это, несомненно, — подлинные амрикканские древности, оставшиеся от племени никербокеров. В газетах, которые забросили в корзину нашего воздушного шара, помещено много снимков с монет, рукописей, печатных документов и др. Привожу, чтобы Вас позабавить, текст никербокеровской надписи на мраморной доске:

Этот краеугольный камень памятника

ДЖОРДЖУ ВАШИНГТОНУ
Заложен с подобающей торжественностью
19 октября 1847 года,
в годовщину сдачи лорда Корнваллиса
генералу Вашингтону в Йорктауне
в год н. э. 1781-й
трудами
нью-йоркской ассоциации по установке
памятника Вашингтону

Таков дословный перевод надписи, сделанный самим Пандитом, так что никакой ошибки быть не может. Из этих немногих дошедших до нас слов мы узнаем ряд важных вещей, в том числе тот интересный факт, что уже тысячу лет назад настоящие памятники вышли из употребления — как и следовало — и люди стали довольствоваться, как и мы сейчас, простым заявлением о своем намерении воздвигнуть памятник когда-нибудь в будущем; для этого тщательно закладывали краеугольный камень «один, совсем один» (простите эту цитату из великого американского поэта Бентона!), в залог великодушного намерения. Из той же интересной надписи мы можем с несомненностью установить способ, а

также место и объект примечательной сдачи, о которой идет речь. Место указано ясно: Йорктаун (где бы он ни был), а что касается объекта, им был генерал Кормваллис (очевидно, торговал кормами). Именно его и сдали. Надпись увековечила сдачу — чего? Ну, разумеется, «лорда Кормваллиса». Неясным остается только одно: куда эти дикари могли его сдавать? Однако если вспомнить, что дикари наверняка были каннибалами, то мы придем к выводу, что сдавали его на колбасу. А как именно происходила сдача лорда Кормваллиса (на колбасу), сказано со всей ясностью: «трудами нью-йоркской ассоциации по установке памятника Вашингтону» — это, несомненно, была благотворительная организация, занимавшаяся закладкой краеугольных камней. Но, боже! Что случилось? Оказывается, шар лопнул, и нам предстоит падение в море. Поэтому я едва успею добавить, что бегло ознакомилась с фотографическими копиями тогдашних газет и обнаружила, что великими людьми среди тогдашних амрикканцев был некто Джон, кузнец, и некто Захарий, портной.

До свиданья, до встречи. Неважно, дойдет ли до Вас это письмо; ведь я пишу исключительно для собственного развлечения. Тем не менее я

запечатаю его в бутылку и брошу в море.

Неизменно Ваша Пандита.

Фон Кемпелен и его открытие[221]

После весьма детальной и обстоятельной работы Араго, — я не говорю сейчас о резюме, опубликованном в «Журнале Простака» вместе с подробным заявлением лейтенанта Мори, — вряд ли меня можно заподозрить в том, что, предлагая несколько беглых замечаний об открытии фон Кемпелена, я претендую на научное рассмотрение предмета. Мне хотелось бы, прежде всего, просто сказать несколько слов о самом фон Кемпелене (с которым несколько лет тому назад я имел честь быть лично немного знакомым), ибо все связанное с ним не может не представлять и сейчас интереса, и, во-вторых, взглянуть на результаты его открытия в целом и поразмыслить над ними.

Возможно, однако, что тем поверхностным наблюдениям, которые я хочу здесь высказать, следует предпослать решительное опровержение распространенного, по-видимому, мнения

---

[221] Примечания: 221

© Перевод. Н. Демурова.

(возникшего, как всегда бывает в таких случаях, благодаря газетам), что в открытии этом, как оно ни поразительно, что не вызывает никаких сомнений, у фон Кемпелена не было предшественников.

Сошлюсь на стр. 53 и 82 «Дневника сэра Хамфри Дэви» (Коттл и Манро, Лондон, 150 стр.). Из этих страниц явствует, что прославленный химик не только пришел к тому же выводу, но и предпринял также весьма существенные шаги в направлении того же эксперимента, который с таким триумфом завершил сейчас фон Кемпелен. Хотя последний нигде ни словом об этом не упоминает, он, безусловно (я говорю это не колеблясь и готов, если потребуется, привести доказательства), обязан «Дневнику», по крайней мере первым намеком на свое начинание. Не могу не привести два отрывка из «Дневника», содержащие одно из уравнений сэра Хамфри, хотя они и носят несколько технический характер. [Поскольку мы не располагаем необходимыми алгебраическими символами и поскольку «Дневник» можно найти в библиотеке Атенеума, мы опускаем здесь некоторую часть рукописи мистера По. — *Издатель*.]

Подхваченный всеми газетами абзац из «Ку-

рьера в карьер», в котором заявляется, что честь открытия принадлежит якобы некоему мистеру Джульстону из Брунсвика в штате Мен, сознаюсь, в силу ряда причин представляется мне несколько апокрифическим, хотя в самом этом заявлении нет ничего невозможного или слишком невероятного. Вряд ли мне следует входить в подробности. В мнении своем об этом абзаце я исхожу в основном из его *стиля*. Он не производит правдивого *впечатления*. Люди, излагающие *факты*, редко так заботятся о дне и часе и точном местоположении, как это делает мистер Джульстон. К тому же, если мистер Джульстон *действительно натолкнулся*, как он заявляет, на это открытие в означенное время — почти восемь лет тому назад, — как могло случиться, что он тут же, *не медля ни минуты*, не принял мер к тому, чтобы воспользоваться огромными преимуществами, которые это открытие предоставляет если не всему миру, то лично ему, — о чем не мог не догадаться и деревенский дурачок? Мне представляется совершенно невероятным, чтобы человек заурядных способностей мог сделать, как заявляет мистер Джульстон, такое открытие и вместе с тем действовать, *по признанию самого мистера Джульстона*, до такой степени как

младенец — как желторотый птенец! Кстати, кто такой мистер Джульстон? *Откуда* он взялся? И не является ли весь абзац в «Курьере в карьер» фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы «наделать шума»? Должен сознаться, все это чрезвычайно отдает подделкой. По скромному моему понятию, на сообщение это никак нельзя полагаться, и если бы я по опыту не знал, как легко *мистифицировать* мужей науки в вопросах, лежащих за пределами обычного круга их исследований, я был бы глубоко поражен, узнав, что такой выдающийся химик, как профессор Дрейпер, всерьез обсуждает притязания мистера Джульстона (или, возможно, мистера Джуликстона?).

Однако вернемся к «Дневнику сэра Хамфри Дэви». Сочинение это *не* предназначалось для публикации даже после смерти автора — человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в писательском деле, легко убедиться в этом при самом поверхностном ознакомлении с его стилем. На стр. 13, например, посередине, там, где говорится об опытах с закисью азота, читаем: «Не прошло и тридцати секунд, как дыхание, продолжаясь, стало постепенно затихать, затем *возникло* аналогичное легкому давлению на все мускулы». Что *дыхание* не «затихало», ясно не только из после-

дующего текста, но и из формы множественного числа «стали». Эту фразу, вне сомнения, следует читать так: «Не прошло и полуминуты, как дыхание продолжалось, [а эти ощущения] стали постепенно затихать, затем возникло [чувство] аналогичное легкому давлению на все мускулы».

Множество таких примеров доказывает, что рукопись, столь поспешно опубликованная, содержала всего лишь черновые наброски, предназначенные исключительно для автора, — просмотр этого сочинения убедит любого мыслящего человека в правоте моих предположений. Дело в том, что сэр Хамфри Дэви менее всего был склонен к тому, чтобы компрометировать себя в вопросах науки. Он не только в высшей степени не одобрял шарлатанства, но и смертельно боялся прослыть эмпириком; так что, как бы ни был он убежден в правильности своей догадки по интересующему нас вопросу, он никогда не позволил бы себе выступить с заявлением до тех пор, пока не был бы готов к наглядной демонстрации своей идеи. Я глубоко убежден в том, что его последние минуты были бы омрачены, узнай он, что его желание, чтобы «Дневник» (во многом содержащий самые общие соображения) был сожжен, будет оставлено без внимания, как, по всей видимости,

и произошло. Я говорю «его желание», ибо уверен, что невозможно сомневаться в том, что он намеревался включить эту тетрадь в число разнообразных бумаг, на которых поставил пометку «Сжечь». На счастье или несчастье они уцелели от огня, покажет будущее. В том, что отрывки, приведенные выше, вместе с аналогичными им другими, на которые я ссылаюсь, натолкнули фон Кемпелена на догадку, я совершенно уверен; но, повторяю, лишь будущее покажет, послужит ли это важное открытие (важное при любых обстоятельствах) на пользу всему человечеству или во вред. В том, что фон Кемпелен и его ближайшие друзья соберут богатый урожай, было бы безумием усомниться хоть на минуту. Вряд ли будут они столь легкомысленны, чтобы со временем не «реализовать» своего открытия, широко приобретая дома и земли, вкупе с прочей недвижимостью, имеющей непреходящую ценность.

В краткой заметке о фон Кемпелене, которая появилась в «Семейном журнале» и многократно воспроизводилась в последнее время, переводчик, взявший, по его собственным словам, этот отрывок из последнего номера пресбургского «Шнельпост», допустил несколько ошибок в по-

нимании немецкого оригинала. «Viele»[222] было искажено, как это часто бывает, а то, что переводится как «печали», было, по-видимому, «Leiden», что, при правильном понимании [«страдания»], дало бы совершенно иную окраску всей публикации. Но разумеется, многое из того, что я пишу, — всего лишь догадка с моей стороны.

Фон Кемпелен, правда, далеко не «мизантроп», во всяком случае внешне, что бы там ни было на деле. Мое знакомство с ним было самым поверхностным, и вряд ли я имею основание говорить, что хоть сколько-нибудь его знаю; но видеться и беседовать с человеком, который получил или в ближайшее время *получит* такую *колоссальную* известность, в наши времена не так-то мало.

«Литературный мир» с уверенностью говорит о фон Кемпелене как об *уроженце* Пресбурга (очевидно, его ввела в заблуждение публикация в «Семейном журнале»); мне очень приятно, что я могу *категорически*, ибо я слышал об этом из собственных его уст, заявить, что он родился в Утике, штат Нью-Йорк, хотя родители его, насколько мне известно, родом из Пресбурга. Семья эта каким-то образом связана с Мельцелем, коего

---

[222] Примечания: 222
Многое (нем.).

помнят в связи с шахматным автоматом. [Если мы не ошибаемся, *изобретателя* этого автомата звали не то Кемпелен, не то фон Кемпелен, не то как-то вроде этого. — *Издатель*.] Сам фон Кемпелен невысок ростом и тучен, глаза большие, *масленые*, голубые, волосы и усы песочного цвета, рот широкий, но приятной формы, прекрасные зубы и, кажется, римский нос. Одна нога с дефектом. Обращение открытое, и вся манера отличается *bonhomie*[223]. В целом во внешности его, речи, поступках нет и намека на «мизантропию». Лет шесть назад мы жили с неделю вместе в «Отеле герцога» в Провиденсе, Род-Айленд; предполагаю, что я имел случай беседовать с ним, в общей сложности, часа три-четыре. Беседа его не выходила за рамки обычных тем; и то, что я от него услышал, не заставило меня заподозрить в нем ученого. Уехал он раньше, чем я, направляясь в Нью-Йорк, а оттуда — в Бремен. В этом-то городе и узнали впервые о его великом открытии, вернее, там-то впервые о нем и заподозрили. Вот, в сущности, и все, что я знаю о бессмертном ныне фон Кемпелене. Но мне казалось, что даже эти скудные подробности могут представлять для

[223] Примечания: 223
Добродушием (франц.).

публики интерес.

Совершенно очевидно, что добрая половина невероятных слухов, распространившихся об этом деле, — чистый вымысел, заслуживающий доверия не больше, чем сказка о волшебной лампе Аладдина; и все же тут, так же как и с открытиями в Калифорнии, — приходится признать, что правда подчас бывает всякой выдумки странней. Во всяком случае следующий анекдот почерпнут из столь надежных источников, что можно не сомневаться в его подлинности.

Во время своей жизни в Бремене фон Кемпелен не был хоть сколько-нибудь обеспечен; часто — и это хорошо известно — ему приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы раздобыть самые ничтожные суммы. Когда поднялся шум из-за поддельных векселей фирмы Гутсмут и Ко, подозрение пало на фон Кемпелена, ибо он к тому времени обзавелся недвижимой собственностью на Гасперитч-лейн и отказывался дать объяснения относительно того, откуда у него взялись деньги на эту покупку. В конце концов его арестовали, но, так как ничего решительно против него не было, по прошествии некоторого времени он был освобожден. Полиция, однако, внимательно следила за каждым его

шагом; таким образом было обнаружено, что он часто уходит из дома, идет всегда одним и тем же путем и неизменно ускользает от наблюдения в лабиринте узеньких кривых улочек, который в воровском жаргоне зовется Дондергат. Наконец после многих безуспешных попыток обнаружили, что он поднимается на чердак старого семиэтажного дома в переулочке под названием Флетплатц: нагрянув туда нежданно-негаданно, застали его, как и предполагали, в самом разгаре фальшивых операций. Волнение его, как передают, было настолько явным, что у полицейских не осталось ни малейшего сомнения в его виновности. Надев на него наручники, они обыскали комнату или, вернее, комнаты, ибо оказалось, что он занимает всю mausarde[224].

На чердак, где его схватили, выходил чулан размером десять футов на восемь, там стояла химическая аппаратура, назначение которой так и не установлено. В одном углу чулана находился небольшой горн, в котором пылал огонь, а на огне стоял необычный двойной тигель — вернее, два тигля, соединенных трубкой. В одном из них почти до верха был налит расплавленный

---

[224] Примечания: 224
Чердак, мансарда (франц.).

свинец, — впрочем, он не доставал до отверстия трубки, расположенного близко к краю. В другом находилась какая-то жидкость, которая в тот момент, когда вошли полицейские, бурно кипела, наполняя комнату клубами пара. Рассказывают, что, увидав полицейских, фон Кемпелен схватил тигель обеими руками (которые были защищены рукавицами — впоследствии оказалось, что они асбестовые) и вылил содержимое на плиты пола. Полицейские тут же надели на него наручники; прежде чем приступить к осмотру помещения, они обыскали его самого, но ничего необычного на нем найдено не было, если не считать завернутого в бумагу пакета; как было установлено впоследствии, в нем находилась смесь антимония и какого-то *неизвестного вещества*, в почти (но не совсем) равных пропорциях. Попытки выяснить состав этого вещества не дали до сих пор никаких результатов; не подлежит сомнению, однако, что в конце концов они увенчаются успехом.

Выйдя вместе с арестованным из чулана, полицейские прошли через некое подобие передней, где не обнаружили ничего существенного, в спальню химика. Они перерыли здесь все столы да ящики, но нашли только какие-то бумаги, не

представляющие интереса, и несколько настоящих монет, серебряных и золотых. Наконец, заглянув под кровать, они увидели старый *большой волосяной чемодан без петель, крючков или замка*, с небрежно положенной наискось крышкой. Они попытались вытащить его из-под кровати, но обнаружили, что даже объединенными усилиями (а там было трое сильных мужчин) они «не могут сдвинуть его ни на дюйм», что крайне их озадачило. Тогда один из них залез под кровать и, заглянув в чемодан, сказал:

— Не мудрено, что мы не можем его вытащить. Да ведь он до краев полон медным ломом!

Упершись ногами в стену, чтобы легче было тянуть, он стал изо всех сил толкать чемодан, в то время как товарищи его изо всех своих сил тянули его на себя. Наконец с большим трудом чемодан вытащили из-под кровати и рассмотрели содержимое. Мнимая медь, заполнявшая его, была вся в небольших гладких кусках, от горошины до доллара величиной; куски эти были неправильной формы, хотя все более или менее плоские, словно свинец, который выплеснули расплавленным на землю и дали там остыть. Никому из полицейских и на ум не пришло, что металл этот, возможно, вовсе не медь. Мысль,

о том, что это золото, конечно, ни на минуту не мелькнула в их головах; как там могла родиться такая дикая фантазия? Легко представить себе их удивление, когда на следующий день всему Бремену стало известно, что «куча меди», которую они с таким презрением привезли в полицейский участок, не дав себе труда прикарманить ни кусочка, оказалась золотом — золотом не только настоящим, но и гораздо лучшего качества, чем то, которое употребляют для чеканки монет, — золотом абсолютно чистым, незапятнанным, без малейшей примеси!

Нет нужды излагать здесь подробности признания фон Кемпелена (вернее, того, что он нашел нужным рассказать) и его освобождения, ибо все это публике уже известно. Ни один здравомыслящий человек не станет больше сомневаться в том, что фон Кемпелену на деле удалось осуществить — по мысли и по духу, если и не по букве — старую химеру о философском камне. К мнению Араго следует, конечно, отнестись с большим вниманием, но и он не вовсе непогрешим, и то, что он пишет о висмуте в своем докладе Академии, должно быть воспринято cum grano salis[225].

---

[225] Примечания: 225
С крупицей соли, т. е. с осторожностью (лат.).

Как бы то ни было, приходится признать, что до сего времени все попытки анализа ни к чему не привели; и до тех пор, пока фон Кемпелен сам не пожелает дать нам ключ к собственной загадке, ставшей достоянием публики, более чем вероятно, что дело это на годы останется in statu quo[226]. В настоящее время остается лишь утверждать, что «чистое золото можно легко и спокойно получить из свинца в соединении с некоторыми другими веществами, состав которых и пропорции неизвестны».

Многие задумываются, конечно, над тем, к каким результатам приведет в ближайшем и отдаленном будущем это открытие — открытие, которое люди думающие не преминут поставить в связь с ростом интереса к золоту, связанным с последними событиями в Калифорнии; а это соображение неизбежно приводит нас к другому — исключительной несвоевременности открытия фон Кемпелена. Если и раньше многие не решались ехать в Калифорнию, опасаясь, что золото, которым изобилуют тамошние прииски, столь значительно упадет в цене, что целесообразность такого далекого путешествия станет

---

[226] Примечания: 226
Без перемен (лат.).

весьма сомнительной, — какое же впечатление произведет сейчас на тех, кто готовится к эмиграции, и особенно на тех, кто уже прибыл на прииски, сообщение о потрясающем открытии фон Кемпелена? Открытии, смысл которого состоит попросту в том, что, помимо существенного своего значения для промышленных нужд (каково бы ни было это значение), золото сейчас имеет или, по крайней мере, будет скоро иметь (ибо трудно предположить, что фон Кемпелен сможет долго хранить свое открытие в тайне) ценность не бо`льшую, чем свинец, и значительно меньшую, чем серебро. Строить какие-либо прогнозы относительно последствий этого открытия чрезвычайно трудно, однако можно с уверенностью утверждать одно, что сообщение об этом открытии полгода назад оказало бы решающее влияние на заселение Калифорнии.

В Европе пока что наиболее заметным последствием было то, что цена на свинец повысилась на двести процентов, а на серебро — на двадцать пять.

Домик Лэндора

Дополнение к «Поместью Арнгейм»[227]

Прошлым летом, во время пешего путешествия по одному-двум приречным графствам штата Нью-Йорк, однажды, когда день клонился к вечеру, я обнаружил, что сбился с пути. Местность была замечательно холмиста; и тропинка, по которой я шел, в течение часа так петляла и запутывалась, пытаясь удержаться в долине, что я не мог более определить, в каком направлении находится прелестная деревенька Б., где я намеревался заночевать. Строго говоря, солнце днем, почитай, и не светило, хотя и стояла тягостная жара. Все обволакивала туманная дымка, какая бывает порою бабьего лета, что, разумеется, увеличивало мою неуверенность. Не то чтоб это меня беспокоило. Если бы я не дошел до деревни к закату или даже затемно, то более чем вероятно, что мне попадется какая-нибудь маленькая голландская ферма или нечто подобное — хотя вообще-то окрестность (быть может, потому, что

---

[227] Примечания: 227

© Перевод. В. Рогов.

она более живописна, нежели пригодна для земледелия) была заселена в очень малой степени. Во всяком случае, если бы мой ранец послужил мне подушкою, а мой пес — часовым, бивуак на открытом воздухе освежил бы меня. Поэтому я шел, не торопясь и не волнуясь, Понто нес мое ружье, пока, наконец, я не стал размышлять, ведут ли куда-нибудь многочисленные прогалины, и одна из них как раз навела меня на несомненную проезжую дорогу. Ошибиться было невозможно. Ясно виднелись следы легких колес; и хотя высокие кусты и разросшийся подлесок сходились над головою, но они не воспрепятствовали бы проезду даже виргинского горного фургона — самого высокого экипажа из ему подобных. Дорога, однако, не считая того, что пролегала в лесу, если не будет чрезмерным назвать лесом подобное скопление тонких деревьев, и не считая отчетливых следов колес, ничем не походила ни на какую дорогу, мною дотоле виденную. Следы, о которых я говорю, были едва заметны, отпечатанные на упругой, но приятно влажной поверхности того, что больше всего напоминало зеленый генуэзский бархат. Ясно, что это была трава, но такую траву редко увидишь за пределами Англии — такую короткую, густую, ровную и яркую. Ничто

не мешало ходу колес — ни единой щепочки или сухой ветки. Камни, некогда преграждавшие дорогу, были тщательно размещены, а не отброшены по обеим сторонам тропы, определяя ее границы полуточным, полунебрежным, но весьма живописным образом. Между камнями пышно разрослись дикие цветы.

Что обо всем этом подумать, я, конечно, не знал. Несомненно, здесь было искусство — это меня не удивило: все дороги, в обычном смысле слова, суть произведения искусства; не могу сказать, что удивлял избыток обнаруживаемого искусства; все, что было сделано, могло быть сделано именно здесь с использованием природных «возможностей» (как выражаются в книгах о декоративном садоводстве) — и с очень малой затратой труда и денег. Нет, не изобилие, а качество искусства заставило меня сесть на окруженный цветами камень и в течение целого получаса растерянно и восторженно любоваться волшебною тропою. Чем дольше я смотрел, тем яснее становилось одно: работою руководил художник, и художник, наделенный острейшим чувством формы. С крайнею заботою соблюдена была надлежащая середина между аккуратностью и грациозностью,

с одной стороны, и pittoresco[228] в истинном значении итальянского термина — с другой. Прямых линий было немного, а длинные и непрерывные и вовсе отсутствовали. Одинаковый линейный или цветовой эффект был виден с каждой данной точки зрения обычно дважды, но не чаще того. Всюду в пределах единства наблюдалось разнообразие. Это был образец «композиции», в которую и самый придирчивый критический вкус не мог бы предложить улучшений.

Вступив на эту дорогу, я повернул направо и теперь, встав, продолжал путь в том же направлении. Тропа так извивалась, что ни на миг я не видел впереди себя более чем на два или на три шага. Характер дороги ни в чем существенном не менялся.

Затем слух мой уловил мягкий рокот воды — и несколько мгновений спустя, сделав более крутой поворот, нежели до того, я увидел, что прямо передо мной у подножия пологого спуска стоит какое-то здание. Я ничего не мог ясно рассмотреть из-за тумана, окутавшего маленькую долину внизу. Однако перед самым закатом солнца подул нежный ветерок; и, пока я стоял на верху откоса,

---

[228] Примечания: 228
Живописным (ит.).

туман постепенно развеялся клочьями и пополз по лощине.

Когда она целиком открылась мне — постепенно, как я описываю, по частям: тут покажется дерево, там блеснет водная гладь, а там станет видна труба на крыше дома, — мне померещилось, будто передо мной одна из тех хитроумных иллюзий, которые иногда демонстрируют под названием «туманных картин».

Однако к тому времени, как туман совершенно рассеялся, солнце зашло за пологие холмы, а оттуда, как бы с легким chassez[229] к югу, снова переместилось в поле зрения, струя пурпурное сияние сквозь расселину в западной части долины. И тогда мгновенно, как бы по волшебству, стала отчетливо видна вся долина и все вокруг.

При первом взгляде, как только солнце соскользнуло за горизонт, я испытал то, что испытывал в детстве от финальной сцены хорошо поставленного театрального зрелища или мелодрамы. Соблюдалась даже фантастичность освещения; потому что свет солнца прорывался сквозь расселину, переливаясь оранжевыми и лиловыми оттенками; а ярко-зеленая трава

---

[229] Примечания: 229
Здесь: поворотом (франц.).

долины отбрасывала блики на все предметы, отражаясь от туманной завесы, все еще висящей над головою, как бы в нежелании покинуть навсегда столь чарующе прекрасное место.

Маленькая долина, в которую я заглянул из-под туманного полога, длиною не превосходила четырехсот ярдов; в ширину же насчитывала от пятидесяти до ста пятидесяти, быть может, Двухсот ярдов. Она была уже всего в северной своей части, отчасти расширяясь к югу. Самая широкая часть ее простиралась ярдах в восьмидесяти от южной оконечности. Пологие скаты, окружающие долину, вряд ли можно было бы назвать холмами, разве только на северной ее стороне. Здесь отвесная скала из гранита поднималась на высоту примерно в девяносто футов; и, как я упоминал, долина в этом месте была не шире пятидесяти футов; но, по мере движения к югу, путник находил справа и слева склоны менее высокие, менее крутые и менее скалистые. Одним словом, от севера к югу все понижалось и сглаживалось; но при этом всю долину, за исключением двух мест, окружали возвышенности. Об одном из этих мест я уже говорил. Оно было расположено на северо-западе и там, как я ранее описывал, заходящее солнце устремлялось в

амфитеатр сквозь глубокую расселину в граните; эта трещина, если можно судить на глаз, в самом широком месте расходилась на десять ярдов. Видимо, она образовывала естественный коридор, ведущий к незнакомым горам и чащам. Другой выход находился точно на юге долины. Здесь в целом склоны были едва заметны, простираясь с востока к западу примерно на сто пятьдесят ярдов. В середине находилось углубление на одном уровне с долиною. Что до растительности, то она, как и все здесь, смягчалась и сглаживалась к югу. На севере — под утесистым обрывом — в нескольких шагах от края — вздымались великолепные стволы каштанов, ореховых деревьев, а кое-где — дубов; и крепкие горизонтальные ветви, особенно у ореховых деревьев, простирались далеко за край обрыва. Продвигаясь к югу, путешественник вначале видел такие же деревья, но менее высокие и не столь похожие на деревья с полотен Сальватора; потом он замечал и менее суровый вяз, а за ним — белую акацию и сассафрас; их сменяли еще более мягкие по очертаниям липа, красноцвет, катальпа и клен, а их — еще более грациозные и скромные породы. Южный выход полностью оброс диким кустарником, среди которого лишь изредка попадались белые тополя

или серебристые ивы. На дне самой долины (следует помнить, что растительность, о которой шла речь, находилась только на склонах и на утесах) видны были три одиноких дерева. Одно из них, вяз, большой и стройный; он стерег южные врата долины. Другое — ореховое дерево, гораздо выше вяза, хотя оба они были весьма красивы; оно как бы опекало северо-западный вход, вздымаясь из груды камней в самом зеве ущелья и простирая свой стройный стан почти под углом в сорок пять градусов далеко в освещенный солнцем амфитеатр. А примерно в тридцати ярдах к востоку от этого дерева видна была краса долины, вне всякого сомнения, самое великолепное дерево изо всех, что я видел, если, пожалуй, не считать итчиатуканских кипарисов. Это было трехствольное тюльпанное дерево — *Liriodendron Tulipiferum* — семейства магнолиевых. Три ствола начинали едва заметно расходиться на высоте около трех футов от земли и отстояли друг от друга не более, нежели на четыре фута в том месте, где самый большой из стволов зеленел листвою, то есть на высоте футов в восемьдесят. Ничто не превзошло бы красотою форму дерева или глянцевитую, яркую зелень его листьев. Шириною они насчитывали целых восемь дюймов; но красоту их

полностью затмевало пышное великолепие многоизобильных цветов. Вообразите себе миллион огромных, роскошнейших тюльпанов! Только так читатель и сможет составить хоть какое-нибудь представление о картине, про которую я хотел бы рассказать. Добавьте к этому горделивую стройность гладких колоннообразных стволов, из которых самые большие доходили до четырех футов в диаметре и возвышались на двадцать футов от земли. Бесчисленные цветы, смешиваясь с цветами других деревьев, едва ли менее красивых, но бесконечно менее величественных, наполняли долину ароматом, превосходящим все арабские благовония.

Долина была покрыта травою, такой же, что и на дороге, но, быть может, еще более восхитительно мягкою, густою, бархатистою и чудесно зеленою. Трудно было представить себе, как добились такой красоты.

Я говорил о двух входах в долину. По северо-западному протекал ручей, покрытый легкою пеною, и с тихим ропотом струился по расселине, пока не ударялся о груду камней, из которой вздымалось одинокое ореховое дерево. Опоясав ее, ручей шел к северо-востоку, оставляя тюльпанное дерево футах в двадцати к югу, и не менял

направления, пока не приближался к средней точке между восточной и западной границами долины. Здесь он несколько раз извивался, поворачивал под прямым углом и следовал на юг, все время петляя, пока не впадал в маленькое озеро неправильной (говоря неточно, овальной) формы, которое блестело у нижнего края долины. Озерцо это в самой широкой своей части достигало, быть может, ста ярдов в диаметре. Никакой хрусталь не превзошел бы чистотою его влаги. Дно его, ясно видное, целиком усеивала ослепительно белая галька. Берега, покрытые описанною ранее изумрудною травою, не опускались, а, скорее, стекали в чистый небосвод, и небосвод этот был столь ясен, порою столь безупречно отражал все над собою, что немалых трудов стоило определить, где кончается настоящий берег и где начинается призрачный. Форели и рыбы родственных им пород, которыми пруд был наполнен почти до тесноты, прямо-таки казались летучими рыбами. Почти невозможно было разувериться в том, что они парят в воздухе. Берестяной челн, покоившийся на водной глади, каждым своим волоконцем отражался в ней с точностью, которую не превзошло бы и тщательнейшим образом отполированное зер-

кало. Островок, утопавший в пышных, веселых цветах, едва оставлявших место для живописного домика, видимо, птичника, поднимался из воды невдалеке от северного берега, с которым его соединял мостик, на вид необычайно легкий и крайне примитивный. Его образовывала одна доска из тюльпанного дерева, толстая и широкая. Длиною она была сорока футов и соединяла берега, легко, но заметно выгибаясь в арку, что не позволяло ей качаться. Из южной оконечности озера вытекало продолжение ручья, который, извиваясь на протяжении, быть может, тридцати ярдов, наконец проходил сквозь «углубление» (ранее описанное) посередине южного входа и, низвергаясь с отвесного стофутового обрыва, незаметно впадал в Гудзон.

Глубина озера местами доходила до тридцати футов — но ручеек редко превосходил глубиною три фута, в ширину же достигал не более восьми. Его берега и дно были такие же, что и у пруда, — и если уж можно было там к чему-нибудь придраться, то разве к чрезмерной опрятности, шедшей в ущерб живописности.

Зеленая трава там и сям разнообразилась декоративными кустами, такими, как гортензия или гевея; а чаще того — геранью, цветущей в

великом обилии и разнообразии. Горшки с этими цветами были тщательно врыты в землю для видимости свободного произрастания. Помимо всего этого на зеленом бархате луга белели овцы — их довольно большое стадо гуляло по долине, а с ними — три ручных оленя и множество уток яркого пера. Очень большой мастиф, казалось, зорко сторожил всех вообще и каждого в отдельности.

Скалы на западе и на востоке — там, где в верхней части амфитеатра границы становились более или менее обрывисты, — поросли густым плющом, так что лишь изредка можно было заметить голый камень. Подобным же образом северный обрыв покрывали виноградные лозы редкостной пышности; иные росли из почвы у подножья утеса, иные — на его выступах.

Легкое возвышение, образующее южную границу этого маленького поместья, завершалось аккуратной каменной стеною, достаточно высокой для того, чтобы не позволить оленям уйти. Более нигде никаких изгородей не было видно, потому что в других местах искусственной ограды и не требовалось: к примеру, если бы какая-нибудь отбившаяся от стада овца попыталась покинуть долину сквозь расселину, то

через несколько ярдов обнаружила бы, что путь ей преграждает отвесная скала, с которой падает каскад, привлекший мое внимание, когда я начал приближаться к поместью. Коротко говоря, единственным входом и выходом служили ворота в проходе между скалами, на несколько шагов ниже той точки, где я остановился для обозрения местности.

Я описал вам весьма извилистый путь ручья на всем его протяжении. Два его главных направления, как я сказал, были сначала с запада на восток, а затем — с севера на юг. На повороте ручей шел назад, почти замыкая круг, и образовывал полуостров площадью около одной шестнадцатой акра. На этом полуострове стоял жилой дом — и когда я хочу сказать, что дом этот, подобно адской террасе, увиденной Ватеком, «était d'une architecture inconnue dans les annales de la terre»[230], я разумею лишь то, что общий вид его крайне поразил меня сочетанием новизны и скромности — одним словом, поэтичностью (ибо только употребленными словами я бы мог дать наиболее строгое определение поэтичного в отвлеченном смысле) — и я не хочу сказать, что

[230] Примечания: 230

По архитектуре являл собою нечто, неведомое в летописях земли (франц.).

в нем было хоть что-либо outré[231].

Да, вряд ли сыскалось бы что-нибудь скромнее и непритязательнее этого домика. Чудесный эффект, им производимый, исходил из его живописной композиции. Смотря на него, я мог бы вообразить, будто его создал своей кистью некий прославленный пейзажист.

Место, с которого я впервые увидел домик, было почти, но не самым лучшим для его обозрения. Поэтому опишу его таким, каким я увидел его впоследствии — с каменной стены на южной стороне амфитеатра.

Основная часть здания насчитывала около двадцати четырех футов в длину и шестнадцати в ширину — никак не более. Общая высота его, от земли до конька крыши, не могла превышать восемнадцати футов. К западному концу здания примыкала пристройка, меньшая во всех измерениях на треть; линия ее фасада отстояла от линии фасада главной части ярда на два; и крыша, разумеется, была значительно ниже той, к которой примыкала. Под прямым углом к ним, от тыльной части здания — не строго посередине его — отходила другая пристройка, очень малень-

---

[231] Примечания: 231
Преувеличено (франц.).

кая, в общем на одну треть меньше западного крыла. Крыши больших помещений были очень круты, — опускаясь от коньковой балки, они образовывали большие вогнутые плоскости и простирались фута на четыре дальше стен, служа навесами двух веранд. Эти навесы, разумеется, не нуждались в подпорках, но так как по виду казалось, что нуждаются, то были снабжены легкими и совсем простыми столбами, и только по углам. Крыша северной пристройки была попросту продолжением главной крыши. Между основной частью и западным крылом поднималась очень высокая и довольно тонкая квадратная труба, сложенная из крепких голландских кирпичей, то черных, то красных, с небольшим карнизом, выступающим на верхушке. Крыши также далеко выступали: в главной части около четырех футов к востоку и двух к западу. Парадная дверь находилась не точно посередине главного здания, а чуть к востоку, два же окна фасада — чуть к западу. Эти последние не доходили до земли, но все же были значительно длиннее и уже обычного — одностворчатые, как двери, — а стекла большие и ромбовидные. Верхняя половина двери была стеклянная, тоже со стеклами в виде ромбов, закрываемая на ночь ставнею. Дверь западного

крыла, очень простая, помещалась в его торцовой части, единственное окно его выходило на юг. В северном крыле наружной двери не было, и окно его, тоже единственное, выходило на восток.

Глухая стена восточного торца оживлялась лестницей (с балюстрадою), пересекавшей ее по диагонали с юга. Ступени ее вели под широко выступавшим навесом на мансарду или, скорее, на чердак — в нем было единственное окно с северной стороны, и служил он, видимо, кладовою.

У веранд при главной части здания и при западном его крыле полов, как водится, не было; но у дверей и под каждым окном, угнездясь в восхитительном дерне, лежали большие, плоские, неправильные по форме гранитные плиты, при любой погоде служившие удобной опорою. Тропинки, выложенные такими же плитами — без чрезмерной подгонки, но с частыми промежутками, заполненными бархатистым дерном, — вели в разных направлениях от дома: к хрустальному ручью шагах в пяти, к дороге, к флигелям, стоявшим к северу, на том берегу ручья и скрытым несколькими акациями и катальпами.

Не более чем в шести шагах от парадной двери высился мертвый ствол фантастической груши, так покрытый от подножья до макушки пышны-

ми цветами бегонии, что требовалось немалое внимание, дабы определить, что же это такое. Ветви этого дерева были увешаны разнообразными клетками. В одной, плетенке цилиндрической формы, веселился пересмешник; в другой — иволга; в третьей — дерзкий трупиал, а из трех или четырех более хрупких узилищ доносилось громкое пение канареек.

Вокруг столбов веранд вились благоуханная жимолость и жасмин; а из угла, образованного главной частью здания и западным крылом, разбегалась виноградная лоза невиданной густоты и пышности. Не зная преград, она карабкалась на крышу пониже, а затем — и на более высокую; извивалась по коньку последней, выбрасывая усики направо и налево, пока не доходила наконец до восточного края и не сползала, волочась по ступенькам.

Весь дом с пристройками был возведен из старомодного голландского гонта — широкого, с незакругленными углами. Особенность этого материала заключается в том, что дома, из него выстроенные, кажутся шире в нижней части, нежели в верхней — на манер египетской архитектуры; и в настоящем случае этот весьма живописный эффект усиливали бесчисленные

горшки с пышными цветами, почти скрывавшие основание дома.

Дом был выкрашен тускло-серой краской; и художник легко себе представит, что за счастливое сочетание образовывал этот нейтральный оттенок с ярко-зеленой листвою тюльпанного дерева, частично осенявшего коттедж.

Если, как я описывал, смотреть на здания, стоя у каменной стены, то они представали в очень выгодном свете — ибо вперед выступал юго-восточный угол — так что глаз охватывал оба фасада сразу, с живописной восточной стороною, и в то же время видел достаточную часть северного крыла, хорошенькую крышу беседки и почти половину легкого мостика, пересекавшего ручей в непосредственной близости от главных зданий.

Я оставался на гребне холма не очень долго, но достаточно для того, чтобы во всех подробностях рассмотреть вид подо мной. Было ясно, что я сбился с пути в деревню и поэтому по праву путника мог открыть ворота и хотя бы спросить дорогу; и, без дальнейших церемоний, я направился внутрь.

Тропинка внутри ворот вела по естественному выступу и понемногу плавно опускалась по склону скал на северо-востоке. Она повела меня

к подножью обрыва в северной стороне, оттуда — через мост и, обогнув дом с восточной его оконечности, подвела к парадному. Я заметил, что флигели пропали из вида.

Когда я поворачивал за угол, ко мне в напряженной тишине по-тигриному прянул мастиф. Однако в залог дружбы я протянул ему руку — и я не встречал еще собаку, способную воспротивиться, когда подобным образом взывают к ее вежливости. Пес не только захлопнул пасть и завилял хвостом, но и дал мне лапу — а затем распространил свою любезность и на Понто.

Не обнаружив звонка, я постучал тростью в полуоткрытую дверь. И тут же к порогу приблизилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или, скорее, даже хрупкая, чуть выше среднего роста. Пока она приближалась с некоторой не поддающейся описанию скромною решимостью, я сказал себе: «Право же, я увидел совершенство естественного, нечто прямо противоположное заученной грациозности». Второе впечатление, произведенное ею на меня, и куда более живое, нежели первое, было впечатление горячего радушия. Столь ярко выраженная, я бы сказал, возвышенность или чуждость низменным интересам, как та, что сия-

ла в ее глубоко посаженных глазах, никогда еще дотоле не проникала мне в самое сердце. Не знаю почему, но именно это выражение глаз, а иногда и губ — самая сильная, если не единственная чара, способная вызвать у меня интерес к женщине. «Возвышенность», — если мои читатели вполне понимают, что я хотел бы выразить этим словом — «возвышенность» и «женственность» кажутся мне обратимыми терминами; и, в конце концов, то, что мужчина по-настоящему любит в женщине — просто-напросто ее женственность. Глаза Энни (я услышал, как кто-то внутри позвал ее: «Энни, милая!») были «одухотворенно серого» цвета; ее волосы — светло-каштановые; вот все, что я успел в нейзаметить.

По ее приглашению, весьма учтивому, я вошел в дом и сперва очутился в довольно широкой прихожей. Я пришел главным образом для наблюдений и поэтому обратил внимание, что справа от меня находилось окно, такое, как на фасаде; налево — дверь, ведущая в главную комнату; а прямо передо мной открытая дверь давала мне увидеть маленькую комнату, одной величины с прихожей, обставленную как кабинет, в котором большое окно фонарем выходило на север.

Пройдя в гостиную, я оказался в обществе ми-

стера Лэндора — ибо, как я узнал впоследствии, такова была его фамилия. В обращении он был приветлив, даже сердечен; но именно тогда мое внимание более привлекала обстановка жилья, столь меня заинтересовавшего, нежели облик его хозяина.

В северном крыле, как я теперь увидел, помещалась спальня, дверь соединяла ее с гостиною. К западу от двери выходило на ручей единственное окно. В западной стене гостиной был камин и дверь, ведущая в западное крыло — вероятно, в кухню.

Ничто не могло бы суровою простотою превзойти обмеблировку комнаты. Пол устилал ковер превосходной выработки — с круглыми зелеными узорами по белому полю. На окнах висели занавески из белоснежного жаконета: они были достаточно пышны и ниспадали к полу резкими, быть может, чрезмерно жесткими складками — и доходили точно до пола. Стены были оклеены бумажными французскими обоями весьма тонкого вкуса, с бледно-зеленым зигзагообразным орнаментом по серебряному полю. Стена оживлялась тремя изысканными литографиями Жюльена à

trois crayons[232], повешенными без рамы. Одна из них изображала сцену восточной роскоши или, скорее, сладострастия; другая — карнавальный эпизод, исполненный несравненного задора; третья — голову гречанки, и лицо, столь божественно прекрасное и в то же время со столь дразнящею неопределенностью выражения, никогда дотоле не привлекало моего внимания.

Более основательная мебель состояла из круглого стола, нескольких стульев (в том числе большой качалки) и софы или, скорее, небольшого дивана; материалом ему служил простой клен, окрашенный в молочно-белый цвет, слегка перемежаемый зелеными полосками; сиденье плетеное. Стулья и стол — того же стиля; но формы их всех, очевидно, являлись порождением ума, который измыслил и весь «участок»; ничего изящнее и представить себе невозможно.

На столе лежали несколько книг, стоял большой квадратный флакон из хрусталя с какими-то новыми духами; простая астральная (не солнечная) лампа из матового стекла, с итальянским абажуром, и большая ваза, полная великолепных цветов. Цветы с многообразной яркой окраской

---

[232] Примечания: 232
Трехцветные (франц.).

и нежным ароматом были единственным, что находилось в комнате только ради украшения. Камин почти целиком занимала ваза с яркой геранью. На треугольных полках по всем углам стояли такие же вазы, отличные друг от друга лишь своим прелестным содержимым. Один-два букета поменьше украшали каминную полку, а поздние фиалки усеивали подоконники открытых окон.

Цель настоящего рассказа заключается единственно в том, чтобы дать подробное описание жилища мистера Лэндора, каким я его нашел.

[Маяк][233]

1 Янв. 1796. Сегодня — в мой первый день на маяке — я вношу эту запись в дневник, как уговорился с Дегрэтом. Буду вести дневник насколько смогу аккуратно — но кто знает, что может случиться, когда человек остается, вот так, совершенно один, — я могу заболеть, а может быть и хуже… Покуда все хорошо! Катер едва спасся, но стоит ли об этом вспоминать, раз уж я добрался сюда в целости? На душе у меня становится легче при одной мысли, что впервые в жизни я буду совершенно один; нельзя же считать «обществом» Нептуна, как он ни велик. Вот если бы в «обществе» я нашел половину той верности, что у этого бедного пса, я, вероятно, не разлучился бы с «обществом» даже на год… Что меня удивляет больше, так это затруднения, с которыми столкнулся Дегрэт, когда хлопотал получить для меня эту должность — для меня, знатного человека! И это не потому, что совет попечителей сомневался в моей способности справиться с огнем маяка. Ведь и до меня с ним справлялся один человек

---

[233] Примечания: 233

© Перевод. З. Александрова.

— и справлялся не хуже, чем команда из троих, которую к нему обыкновенно ставят. Обязанности эти — пустяшные, а печатная инструкция составлена как нельзя яснее. Взять в спутники Орндорфа было просто невозможно. Я не смог бы работать над книгой, если бы он был тут со своей несносной болтовней — не говоря уж о неизменной пеньковой трубке. К тому же я хочу быть именно один… Странно, что до сих пор я не замечал, как уныло звучит самое слово «один»! Мне даже начинает казаться, будто эти цилиндрические стены рождают какое-то особое эхо — впрочем, чепуха! Одиночество начинает-таки действовать мне на нервы. Нет, этак не годится. Я не позабыл предсказания Дегрэта. Надо поскорее подняться к фонарю и хорошенько оглядеться, «чтобы увидеть, что можно». Не очень-то много тут увидишь. Волнение на море как будто начало утихать, но все же катеру нелегко будет добраться до дому. Они едва ли завидят Норланд раньше полудня завтрашнего дня, а ведь до него вряд ли более 190 или 200 миль.

2 Янв. Нынешний день я провел в каком-то экстазе, который не в силах описать. Моя страсть к одиночеству не могла бы получить лучшей пищи — не могу сказать удовлетворения, ибо я, кажет-

ся, никогда не смог бы насытиться блаженством, какое я испытал сегодня.

…Ветер к рассвету стих, а после полудня заметно успокоилось и море… Даже в подзорную трубу ничего не видно, кроме океана и неба, да еще иногда чаек.

3 Янв. Весь день стоит мертвый штиль. К вечеру море стало точно стеклянное. Показалось несколько обрывков водорослей, но кроме них весь день — ничего, даже ни единого облачка… Я занялся осмотром маяка… Он очень высок — как я убеждаюсь на собственном нелегком опыте, когда приходится взбираться по бесконечным ступеням — почти 160 футов от самой низкой отливной отметки до верхушки фонаря. А внутри башни расстояние до вершины составляет не менее 180 футов — таким образом, пол расположен на 20 футов ниже уровня моря, даже при отливе… Мне кажется, что пустоту в нижней части следовало бы заполнить сплошной каменной кладкой. Она, несомненно, сделала бы все строение гораздо надежнее, но что это я говорю? Такое строение достаточно надежно при любых обстоятельствах. В нем я чувствовал бы себя в безопасности во время самого свирепого урагана, какой только возможен, однако я слышал от моряков, что

иногда, при юго-западном ветре, приливы здесь бывают выше, чем где бы то ни было, исключая западный вход в Магелланов пролив. Но перед этой мощной стеной, скрепленной железными скобами, прилив сам по себе бессилен — на 50 футов над высшей приливной отметкой толщина стены никак не меньше четырех футов. Здание построено, по-видимому, на меловой скале.